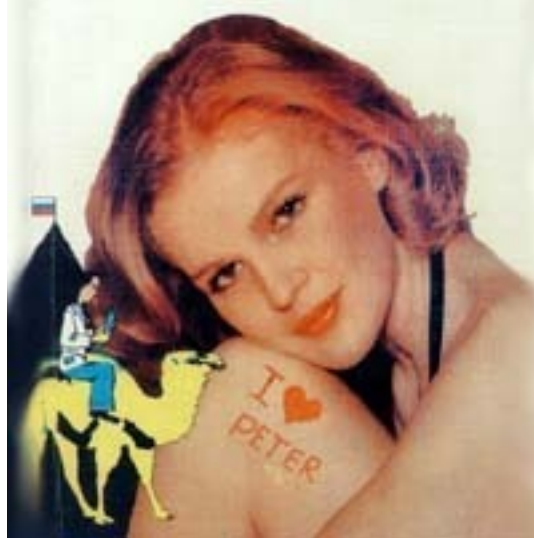


АЛЕКСАНДР
ЖИТИНСКИЙ
ДИТЯ ЭПОХИ



Александр Житинский

Дитя эпохи

«Геликон Плюс»

1994

Житинский А. Н.

Дитя эпохи / А. Н. Житинский — «Геликон Плюс», 1994

Юмористическое повествование Александра Житинского, написанное от лица молодого научного сотрудника Пети Верлухина, публиковалось в различные годы в виде повестей «Сено-солома», «Эффект Брумма» и др., завоевавших признание читателей забавными коллизиями, юмором и живым языком. Однако под одной обложкой книга ранее не выходила. Настоящее издание исправляет эту досадную оплошность издателей прошлых лет и даёт возможность читателям вспомнить те годы, когда всё было не так, как сейчас.

© Житинский А. Н., 1994

© Геликон Плюс, 1994

Содержание

Вступление	5
Часть 1. Типичный представитель	6
Генеалогия	6
Легенды	7
Родственники	8
Наташа	10
Начальная школа	11
Школьное средневековье	12
Первая любовь	15
Отец	16
Новое местожительство	18
Красный охотник	19
Друг	20
Комплекс полноценности	22
Вторые любви	24
Политика	29
Профессия	31
Жена	33
Типичный представитель	35
Часть 2. Глагол «инженер»	37
Без пяти минут	37
Грузинские фамилии	40
Дверь с шифром	44
Заткни фонтан!	48
Кутырьма	52
Фиктивная жизнь	56
Свадьба понарошке	60
Гений	63
Миг удачи	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Дитя эпохи. Повествование в 7-ми частях

Вступление

Очень много приходится врать.

Даже не лгать – нет, а именно врать. По мелочам, ради спокойствия или ерундовой выгоды. Не думайте, что я такой плохой, а вы такие хорошие. Все мы одинаковы. И все считаем себя в душе честными людьми.

Труднее всего сказать правду о себе. Я несколько раз пытался, но ничего не выходило. Очень было страшно.

Казалось бы, чего проще? Берешь чистый листок бумаги и пишешь что-нибудь в таком роде: «Я, Верлухин Петр Николаевич, родился тогда-то. Жил там-то, учился там-то... Родители, брат, сестра. Жена, дети...» И все это будет чистой правдой. Особенно, если приложить к этому листку заполненную анкету и заявление о приеме на работу. В любом отделе кадров такой чистой правды полный шкаф.

Но попробуйте написать о себе честно, не стараясь показаться хорошим. В сущности, мы только и делаем, что стараемся показаться лучше, чем есть. Сколько вранья нагромождено, чтобы окружающие наконец сказали: «Да, это честный и добрый парень!» Ради этого мы здорово изворачиваемся. Сколько компромиссов с совестью, сколько полусогласий и полупоступков! Сколько фиг расцветает в наших карманах! Как изящно мы обманываем самих себя, убеждая в собственной непогрешимости! Дипломатические разговоры с порядочностью ведутся на столь высоком уровне, что наивная наша совесть наконец засыпает, и мы уходим от нее на цыпочках, боясь потревожить.

Впрочем, буду говорить о себе.

Правда заключается в том, что я боюсь правды. И в то же время страшно хочу ее узнать. Я хочу знать о себе все досконально, хотя понимаю, что это не принесет мне счастья и не доставит радости.

И все-таки что-то заставляет меня изложить свою биографию так, как мне хочется. Не для отдела кадров. Если я добьюсь одной трети правды – это будет прекрасно. Тридцать три процента правды – весьма высокий КПД для любого связного текста.

Часть 1. Типичный представитель

Генеалогия

Мой род не уходит корнями в древность.

Сейчас редко у кого он уходит туда корнями. Хотя, если рассуждать логически, цепочка предков не имеет права прерываться. Наверняка мой прямой предок, и не один, существовал во времена Екатерины, присутствовал при крещении Руси и даже охотился на мамонтов. У меня в голове это не укладывается.

Трудно себе представить, что целая армия моих прямых предков боролась за существование, трудилась и растила детей, чтобы в результате появился я.

Ну, не один я, конечно. И вы тоже.

Обидно, что никаких сведений об этих людях я не имею. Кроме исторических, разумеется. Очень интересно было бы знать, как мой непосредственный предок по отцовской линии относился к декабристам, допустим. Если, конечно, он не жил где-нибудь в Испании. А что? Вполне возможный вариант.

Дело в том, что мои предки мало заботились, чтобы оставить след с автографом. То есть создать нечто такое, что до меня дойдет. Например – летопись, икону, храм, скульптуру, стихотворение на худой конец. Возможно, у них были другие задачи. Они пахали, сеяли, строили избы, воевали, производили детей и умирали. В результате я ничего про них не знаю.

Лишь какие-то цари, короли и герцоги имеют возможность проследить свою генеалогию достаточно далеко. Правил один, потом царствовал другой, затем свергли третьего. Мне кажется – это несправедливо. У нас теперь демократия, и каждый должен знать своих предков.

Человечество почему-то не додумалось до одной простой вещи. Давным-давно было пора создать генеалогический архив. После смерти каждого человека туда следует вкладывать маленькую карточку. На ней надо писать имя человека, даты жизни, имена его детей и – что человек сделал. Не то, что он хотел сделать или обещал, а только – что сделал. Каким он был – добрым, злым, покладистым, милым, душевным, нетерпимым, даже порядочным мерзавцем – не имеет значения. Это интересно современникам. А потомков интересуют дела.

Но такого архива нет, и поэтому представление о моем роде не заходит глубже второй половины прошлого века. И то благодаря моей бабушке. Бабушка находилась в столь преклонном возрасте, что помнила живьем поэта Надсона. Она помнила времена, когда не было самолетов, радио, телевидения и ракет. Вообще ничего не было. Насколько спокойней тогда жилось людям!

С детства я расценивал бабушку как исторический памятник, находящийся под охраной. Бабушка утверждала, что нашими предками были достойные и уважаемые люди. Часть из них занималась физическим трудом, а часть – умственным. Были и такие, которые ничем не занимались. Они назывались дворянами. Так что с точки зрения наследственности картина получается путаная. Не знаю – чего во мне больше? Каких качеств? Это предстоит еще выяснить.

Бабушка говорила, что я похож на дедушку. Дедушка тоже ничего не добился в этой жизни и умер очень давно. Только он не добился ничего в то время, а я сейчас.

Бабушка всегда была такой старой, что больше не старела. На фоне бабушки мы изменялись с головокружительной быстротой. Мы все ее догоняли. Мы – это мои родители, брат и сестра. Но о них в свое время.

Легенды

Говорят, я родился в воскресенье. Почему-то мне это приятно.

Конечно, был чрезвычайно великолепный день. На редкость. Мама вынесла меня в стеганом одеяле и передала на руки папе. Папа меня взял, поцеловал маму, а потом мы сели в автомобиль и поехали домой. Это было за несколько месяцев до войны.

Существует и другая версия. Согласно ей меня несла на руках бабушка. Тогда она была еще способна это делать. День все равно был хороший и это что-то там знаменовало.

Кстати, была зима, и я не простудился.

Вторая легенда, чуть подлиннее, связана с моим крещением. Это подпольная легенда, потому что папе нельзя было, чтобы меня крестили. Мой папа был коммунистом, к тому же военным. А бабушке было, наоборот, нужно. Мне, как вы понимаете, было тогда еще наплевать.

Так вот. Тайком от папы, который узнал обо всем этом много лет спустя, бабушка повезла меня в церковь. Батюшка меня взял, куда-то окунул, перекрестил и назвал церковным именем. Имени никто не знает, даже бабушка, потому что она забыла. Кажется, батюшка сказал что-то насчет моей будущей счастливой и знаменитой жизни. Пользуясь случаем, довожу до его сведения, что он ошибся.

Такого рода легенды постоянно излагались мамой или бабушкой на семейных торжествах. Всем очень бы хотелось, чтобы я родился в рубашке. Однако этого не произошло. Вероятно, по недоразумению.

Далее следуют легенды, свидетельствующие о моей необычайной одаренности в детстве. Интересно, куда она девалась? Вообще одаренных детей существует огромное количество, если верить их родителям. А потом из них получаются вполне заурядные взрослые. Это мягко говоря.

Читать я научился так рано, что еще не умел говорить. Читал про себя. Потом сразу заговорил стихами Чуковского. Их я рассказывал маме перед сном, пока она не засыпала. Тогда уже была война и засыпать иногда приходилось в бомбоубежище. Там на меня однажды, пользуясь темнотой, села какая-то тетка и чуть не раздавила.

Однажды случайно я глотнул уксусной эссенции и чуть не умер.

Однажды я заблудился в лесу и чуть не потерялся совсем...

Однажды я был искусан собаками и чуть...

Таких «чуть» было довольно много. Представляется невероятным, что я выжил. Все семейные легенды имеют счастливый конец. Думаю, что они сильно приукрашены. Я за них не отвечаю, потому что сам ничего не помню.

Родственники

У отца было две сестры – тетя Зика и тетя Мика. Они были бабушкиными дочерьми. Относительно тети Зики я всегда догадывался, что ее настоящее имя – Зинаида. С тетей Микой было сложнее. В детстве я думал, что ее полное имя – Микстура. На самом деле тетю Мику звали Татьяной, но об этом я узнал позже. Имя Микстура подходило к ней гораздо больше.

Как мне теперь кажется, в нашей семье сохранялись следы патриархального быта. Его хранительницей была бабушка. Она предполагала, что мы происходим из дворян. Отцу не нравился этот тезис. До войны он его активно опровергал. Происходить из дворян в то время было опасно.

Зато тетя Зика и тетя Мика всячески подчеркивали наше мнимое дворянство. Уходя и приходя, они говорили что-то по-французски бабушке. Маме это не нравилось, потому что она родилась в кубанской станице и жила в ней до сознательного возраста. Бабушка смеялась по-французски и рассказывала еврейские анекдоты. Между мамой и бабушкой всегда ощущалась международная напряженность.

– Ты хочешь загнать меня в гроб, – говорила бабушка маме.

– Вы, мама, сами кого угодно загоните в гроб, – отвечала мама.

Скандалы, как это ни странно, возникали редко, и поэтому окончательно загнать в гроб ни одну сторону не удавалось. Тетки Зика и Мика появлялись в нужный момент, когда назревал гол. Они действовали как голкиперы, предохраняя гроб от попадания в него бабушки или мамы. Им хотелось, чтобы они жили мирно. Кроме альтруизма, ими руководило вполне осознанное нежелание жить с бабушкой, если *не дай Бог что-нибудь случится* с мамой.

Последнее словосочетание в детстве обозначало смерть. На Пушкинской улице жил дедушка Шамраев, отец бабушкиной двоюродной сестры, а потом с ним *не-дай-Бог-что-нибудь-случилось*. Дедушка Шамраев был ужасно старый и очень пугался, когда садился на воздушный шарик. Шарик в кресло подкладывали мы с двоюродными братьями, сыновьями тети Зики и тети Мики, будучи в гостях у дедушки. Посещение дедушки Шамраева и его дочери Сони считалось почему-то хорошим тоном.

Тетя Соня работала в детском издательстве. Она была старой девой. Эти слова произносились мамой с уважением. Тетя Соня посвятила свою жизнь дедушке Шамраеву и детским книжкам. Она была худой, с черными выпуклыми глазами, в облаке папиросного дыма, вечно окружавшем тетю Соню. Тетки Зика и Мика ее боялись. Тетя Соня дарила нам книжки с автографами детских писателей. В писательских надписях на книгах чувствовалось уважительное заискивание. Тетя Соня проработала в издательстве со дня его основания до семидесяти шести лет, не уходя на пенсию. Она была очень умна, строга и добра, что я понял уже взрослым.

К сожалению, не могу сказать того же о других родственниках. Даже тогда, в детстве, я чувствовал некоторый недостаток доброты и ума в словах и поступках ближних. Меня и сейчас более всего изумляет человеческая глупость, но я привык с нею мириться.

Многочисленная родня с маминой стороны жила на Кубани. К десяти годам я научился, наконец, разбираться в маминых сестрах. Их было четверо. Все они жили в станице и имели многочисленных детей, моих двоюродных братьев и сестер, точное количество которых я не знаю и сейчас.

Родня с маминой стороны негласно считалась родней второго сорта. Возможно, это мнение создала бабушка. Может быть, и мама в глубине души стала думать так, когда отцу присвоили звание полковника.

На Кубани я был один раз в двенадцатилетнем возрасте. Тетки откармливали меня яблоками и жареными гусями. Мужья теток были украинцами. Они называли меня *дывысь-який-*

гарный-кацапчик. Все четыре слова я не понимал. Вернувшись с Кубани, я долго произносил звук «гэ» мягко, на украинский манер.

Самый старший двоюродный брат с маминой стороны не так давно стал генералом. Вот вам и родня второго сорта! Этот факт не смог проникнуть в мою голову. Он постучался, но я его туда не впустил. Я не могу себе представить брата-генерала, увольте! Тем более, что я видел его один раз двадцать пять лет тому назад.

А вообще мои родственники, как и предки, образуют полный спектр социального излучения. Среди них есть колхозники, врачи, лаборанты, военные, рабочие, пьяницы, есть брат в тюрьме, есть свояк – сотрудник органов, есть кандидаты наук. И есть один генерал – начальник политуправления крупного воинского соединения.

Где-то ближе к инфракрасной области спектра – области малых энергий – нахожусь я сам.

Наташа

Мое детство прошло в эпоху домработниц.

Здесь требуется пояснение для молодежи, которая не совсем хорошо знает, что такое «домработница». Когда-то давно во многих домах жили служанки и гувернантки. Я не совсем ясно понимаю значение последнего слова. Для меня гувернантка – это служанка с высшим образованием, воспитывающая детей. Домработницы объединяли служанку и гувернантку в одном лице. И без всякого высшего образования.

Наташа приехала из деревни в восемнадцатилетнем возрасте. Мне тогда было восемь. Мы жили в трехкомнатной квартире. Наташа спала в кухне на раскладушке. В те времена социальное происхождение хозяйки и домработницы часто было одинаковым. Между моей матерью, бывшей кубанской казачкой, и Наташей, приехавшей из-под Тулы, установились своеобразные отношения. Несмотря на молодость, Наташа имела собственные взгляды на воспитание детей, то есть нас с братом и сестрой. Мама и Наташа часто вступали в дебаты, сопровождавшиеся обоюдными криками и слезами. Наташа подхватывала на руки мою малолетнюю сестру и убегала с ней из дома. Этим она выражала протест против неправильного воспитания. Мама бросалась за нею, а вечером жаловалась папе. Наташа всячески защищала нас от посягательств родителей.

Между прочим, моя старшая сестра, умершая в младенчестве, была бы ровно на десять лет старше меня. И я воспринимал Наташу как старшую сестру, появившуюся в доме после восемнадцатилетнего отсутствия.

По субботним вечерам Наташа с соседской домработницей гуляли в парке с солдатами. Они одевались в крепдешиновые платья с жакетками, завивали волосы щипцами и уходили твердой вздрагивающей походкой. Когда солдаты бросали их, домработницы плакали, но недолго.

Первый год Наташа купала нас с братом в ванне. Брату было пять лет. Мы устраивали морские сражения, выплескивая воду на Наташу. Уже через год я отказался от этих купаний и научился мыться самостоятельно. Во мне просыпался отроческий стыд.

Кроме стыда, просыпалось и еще что-то – какие-то тайные и жгучие желания. Когда мне исполнилось двенадцать, я стал подсматривать за Наташей. Между туалетом и ванной комнатой было высокое окошко, перегородженное наклонными деревянными планочками. Я вставал ногами на унитаз и смотрел сквозь планочки на мою Наташу. Она задумчиво терла мочалкой маленькие круглые груди, похожие на шарики мороженого. Мне было стыдно, но желания были сильнее стыда.

Если вышесказанное кого-нибудь шокирует – можете не читать. Я не обижусь. Я обещал себе писать правду.

Начальная школа

В этой повести сюжета не будет – не ищите. Самый естественный, хотя и самый неправильный сюжет – это жизнь человека. В данном случае моя.

Само собой, в надлежащее время я отправился в школу. Школа была специальной. В ней со второго класса изучали французский язык. Я до сих пор помню слово «стол» по-французски. Ля табль. Я был чистеньким мальчиком из порядочной семьи. К таким раньше брали гувернеров. Уж они научили бы меня французскому! Но гувернеры, как я уже упоминал, перевелись задолго до моего рождения. Поэтому я французского не знаю.

Отца переводили служить то туда, то сюда. Я менял школы, как башмаки, из которых вырастала нога. Все это слилось в общее воспоминание, как капельки ртути сливаются в одну дрожщую каплю. В ней отражается моя стриженная под ноль голова, торчащая на предпоследней парте в окружении сорока таких же голов. Ни единой косички, потому что школы тогда были раздельными.

Прошу отметить это обстоятельство. До четырнадцати лет я знал о девочках только понаслышке. Ну, видел, конечно, на улицах или в кино. Но не более.

Мы жили в Москве, и отец брал меня на Красную площадь смотреть парады. На Мавзолее стояли люди. Один из них был Сталин.

Сталин был самым главным в нашей стране. Он был им долгое время, и последний кусочек я застал. Он много чего сделал, в том числе и ошибок. Ему на это справедливо указали. Правда, потом, когда он уже не мог их исправить.

Сталин был нашим отцом до пятого класса. Затем он умер и перестал быть нашим отцом. Это было большое горе. Я очень старался заплакать, когда узнал, но у меня ничего не вышло. Мне стало стыдно.

На улицах повесили траурные флаги. В школе устроили почетный караул перед портретом. Я стоял рядом с добрыми толстыми усами Сталина и думал, что же будет дальше. Казалось, что дальше ничего хорошего не предвидится. Было страшно.

Школьное средневековье

Уровень жизни в то время был похуже, чем сейчас. А главное – он был более дифференцирован. Это теперь неизвестно, кто больше получает, и живет богаче – уборщица или доцент, мясник или младший научный сотрудник. Хотя в последнем примере с мясником я, пожалуй, немного переборщил, как выражается моя мама. Тут как раз все ясно.

В те годы деление на имущих и неимущих было четким.

На окраине тогдашней Москвы построили короткую улицу, потеснив деревянные домишки и бараки. Сейчас это далеко уже не окраина, а чуть ли не центр Москвы. Но тогда улица имела в длину метров двести и насчитывала около десятка серых четырехэтажных домов. Их и теперь называют «сталинскими». Там жили военные и интеллигенция – врачи, писатели, журналисты-международники, профессора и прочие.

В глубине дворов продолжали стоять бараки, которые до поры до времени не сносили.

В этом месте я окончательно почувствовал – какой я уже недостаточно молодой, скажем так. Мне слишком часто приходится разъяснять для молодежи отдельные слова. Ну, например, – «бараки».

Люди старшего поколения помнят эти бараки. Это были длинные одноэтажные здания с одним входом в каком-нибудь из концов. Вдоль барака тянулся тусклый узкий коридор, пропахший жареной на постном масле рыбой. Слева и справа были двери. За каждой дверью в комнатке жила семья. Три, пять, семь человек. Конец коридора скрывался в синеватом чаду.

В бараках жили рабочие, мелкие служащие, лица без определенных занятий, бывшие урки и тому подобные. От барачников веяло преступностью. Поселившаяся рядом интеллигенция боялась барачников, как огня.

Сферы деятельности людей из барачников и обитателей сталинских домов были совершенно различны. Линия соприкосновения между ними проходила в школе, где мы – дети военных, профессоров и писателей – учились вместе с детьми рабочих и лиц без определенных занятий.

Как и во взрослой жизни, мы занимали руководящие посты, а барачные дети были движущей силой. Я был звеньевым, а мой товарищ – сын журналиста-международника – председателем совета отряда. Другие звеньевые, староста и члены совета отряда тоже проводили свое детство в сталинских домах.

Мы воспитывали барачных и старались сделать из них людей. Мы вызывали их на заседания совета отряда, прорабатывали за двойки, хулиганство, курение и матерщину. После заседаний мы вместе с прорабатываемыми шли в заброшенный парк над грязной речкой Тарахановкой, которую потом упрятали в подземную трубу, и с наслаждением курили и матерились. В пятом классе я курил какие-то вонючие папиросы и матерился, как извозчик. Значения производимых слов я не понимал. Значение слова «извозчик» можно посмотреть у писателей девятнадцатого века.

Я испытывал страшный стыд за свое социальное происхождение.

Для меня не было более обидных слов, чем «маменькин сынок». Когда в школе спрашивали, кто у меня отец, я всегда отвечал – военный. Никакая сила не могла заставить меня произнести его звание. Раза два отец приходил в школу в форме. Я прятался под лестницей, в закутке, где нянечка хранила тряпки и небольшие картонные ящички мела.

Вот вам пожалуйста – нянечка!

Где они теперь, нянечки? Как их называют сейчас в школах? Уборщицы? Технические работницы? Может быть, их вообще уже нет?

А у нас были нянечки. Они знали нас по именам.

Стремясь доказать свою пролетарскую сущность, многие мальчики сталинских домов превзошли барачных. Мой одноклассник, сын писателя, загремел в колонию. Я был осторожен и хранил самодельную финку дома, за репродукцией картины Шишкина «Корабельная роща».

На школьных переменах, в просторных кафельных туалетах, устраивались стычки «до первой кровянки». Это были честные состязания. Два противника, желавшие выяснить отношения, дрались в тесном кругу, пока у одного из них не появлялась кровь под носом. Бой прекращался. Боец с целым носом объявлялся победителем.

Стычки никогда не возникали стихийно. Они тщательно готовились. Уже за три дня становилось известно, что в пятницу на большой перемене Яша Тайц стыкается с Хамсой из параллельного пятого «В» класса. Что они там не поделили – я забыл. Мы опасались только, что наш огромный, кучерявый и самый сильный в классе Яша Тайц, сын врача-профессора, может нечаянно убить барачного Хамсу и тоже загреметь в колонию.

Хамса был ниже Яши на голову. Он вряд ли мог достать кулаком до Яшиного носа и добиться «кровянки». Хамса был белобрыс, прилизан, тощ и вертляв. Голова его по форме напоминала огурец.

Стычка была серьезная и принципиальная – до звонка на урок. Перемена длилась пятнадцать минут. Это означало, что Яша Тайц и Хамса проведут пять боксерских раундов без перерыва.

Каково же было наше изумление и огорчение, когда Хамса побил Яшу Тайца! Юркий и ловкий Хамса увертывался от квадратных Яшиных кулаков, которые тяжело утюжили воздух над его головой. Сам Хамса не переставая молотил Яшу в живот. Улучив момент, Хамса подпрыгивал и концом своего белобрысого огурца бил Яшу по крупному носу. После второго удара у Яши пошла кровь. Хамса снова и снова бил по носу Яши своей прилизанной макушкой, отчего она покраснела. Яша, как раненый, истекающий кровью бык, безуспешно пытался зацепить хоть раз Хамсу. Прозвенел звонок, и противники бросились к кранам – отмывать кто нос, кто макушку. Яша явился в класс бледный, поверженный, поколебавший нашу уверенность в превосходстве силы над смекалкой.

Я боялся стычек и стыдился своей боязни.

Как вы уже заметили, я часто чего-то стыдился. Не знаю, как другие, но я испытывал это чувство постоянно. В моей памяти глубже всего отпечатались моменты, когда мне было стыдно. Стыдно за свою чувственность, ложь, страх, тайное честолюбие, стремление быть похожим на других, за родственников, за школу, за страну, в конце концов.

Самый страшный стыд – это стыд за страну. Он возник позже, в юности – я еще об этом расскажу. Стыд уравновешивался гордостью, когда были причины гордиться. Гордость и стыд, как мне кажется, соединенные вместе, составляют любовь. Я хочу сказать, что это патриотические чувства. Одна сплошная гордость еще не является любовью к родине. Здесь, как и везде, диалектика проявляется в единстве противоположностей.

Гордость за свое благородное происхождение и стыд за него.

Гордость за великие идеи свободы, равенства и братства – и стыд перед их реальным воплощением.

Но я отвлекся. Страшно было, когда мы всем классом били одного. На нашем языке это называлось – «обламывать». У нас был предмет для обломов – мальчик по фамилии Горюшкин. Его участь блестяще подтверждала фамилию. Горюшкин сидел со мною за одной партой, и я подтягивал его по русскому языку. Надо сказать, что Горюшкина били не зря. В школе почти никогда не бьют зря. Он был фискал, во всем его облике было что-то подленькое, нагловатое и трусливое. Когда созревала мысль в очередной раз побить Горюшкина, мы караулили его после уроков во дворе школы. Горюшкин безошибочно чувствовал созревание этой мысли и не выходил из школы до темноты. Он маялся там в коридоре, несчастный Горюшкин, и тосковал, а мы терпеливо сидели во дворе на своих портфелях и смотрели на окна школы. Нако-

нец в темноте выходил Горюшкин, слабо надеясь, что товарищи простили его и разошлись. Но товарищи бросались на Горюшкина и били его пыльными портфелями по голове. Я старался быть в задних рядах и лишь имитировал участие. Мне было жалко Горюшкина. И стыдно было невыносимо, потому что я не находил в себе сил противостоять толпе. Горюшкин никогда на меня не жаловался, хотя и видел меня среди нападавших. Некое благородство присутствовало в Горюшкине. Он не напоминал мне о моем участии в битве, когда мы занимались с ним русским языком. Вероятно, Горюшкин понимал, что вел бы себя так же, если бы мы поменялись ролями.

Где ты теперь, Горюшкин?

Прости меня.

Все это – и курение, и матерщина, и самодельные финские ножи, и стычки, и обломы – происходило в школьное средневековье, с третьего по шестой класс, и прошло, как корь, к седьмому классу.

Как раз в это время воссоединили мужские и женские школы. Это было первой ощутимой мною переменной после смерти Сталина. Воссоединение стало выдающимся событием в моей жизни.

Первая любовь

Я оказался в бывшей женской школе. Так получилось, потому что она была ближе.

В женской школе были свои традиции. Там на переменках не «стыкались», как у нас. Все ходили по коридору парами, отдыхая от умственной работы. У меня было впечатление, что я попал в музей. В класс входили учительницы с буклями и, медленно ужасаясь, взирали на представителей мужского пола. Для них это воссоединение было как снег на голову.

Мы быстро приспособились и стали расшатывать устои. Между прочим, девочки охотно помогали нам их расшатывать. Вот тут и случилась первая любовь. Она была из параллельного класса.

Любовь из параллельного класса – это немного неудобно. Во-первых, видишься редко, на переменках. Во-вторых, необходимо как-то познакомиться. Нужны посредники. И посредники нашлись.

Меня привели в кружок бальных танцев, где занималась также и она. Ее звали Ира. Кружок бальных танцев существовал для привития нам чего-то возвышенного, розового и душистого, как туалетное мыло. Кроме галантности, распространяемой между нами, нас учили танцевать менуэты, па-де-патинеры, мазурки, полонезы и прочую дребедень, будто мы собирались служить при дворе Людовика Четырнадцатого или играть в опере «Иван Сусанин». Насколько мне известно, судьба у всех сложилась иначе.

И вот меня стали учить правильно подходить к даме, протягивать ей руку с легким поклоном головы, на что она отвечала элегантным книксеном, и вести ее на танец. В танце полагалось тянуть носочки и смотреть на даму с великосветской полуулыбкой.

Два раза в неделю я танцевал с Ирой менуэты. Постепенно мы стали встречаться помимо менуэтов. Мы гуляли компанией, потому что гулять вдвоем было слишком откровенно. Я старался понравиться. Она, кажется, тоже.

Запрещенными танцами в то время были фокстрот и танго. Господи, как мне хотелось научиться их танцевать! Во время танго допускалось обнять даму за талию. Это казалось мне верхом счастья.

Ира пригласила меня на день рождения. Я долго мучился, что бы ей подарить, и подарил брошку в виде рыбки и книгу «Дон Кихот» писателя Сервантеса. На книге я что-то написал. Она была идейным приложением к брошке.

Не так давно я держал эту книгу в руках. Передо мной сидела взрослая Ира, моя первая любовь. Я смотрел на свою дарственную надпись и удивлялся этой безжалостной шутовине, которая называется время.

А танго я все-таки научился танцевать. Только позже.

Отец

Мой отец был военным летчиком.

Я всегда гордился тем, что он летчик и стыдился его высоких званий. Мне казалось, да и сейчас кажется, что одного слова вполне достаточно, чтобы определить человека. Летчик. Физик. Врач. Писатель. Учитель...

Это существительные, отражающие, как им и положено, существо дела. Всякие же звания – суть прилагательные, или эпитеты, указывающие на качество предмета. Хороший летчик – это полковник. Плохой – лейтенант. Хороший физик – академик, физик так себе – младший научный сотрудник.

Если бы это всегда было так!

Мой отец по отзывам сослуживцев был отличным летчиком еще в звании лейтенанта. Когда он стал полковником, то прекратил летать по возрасту, ибо наступила эра реактивной авиации.

Знаете ли вы, что такое запах аэродрома?

На аэродромах росла редкая желтая трава. Земля была в крупных масляных пятнах. Взлетные полосы были грунтовыми, а иногда набирались из фигурных железных полос с отверстиями, из которых торчала все так же колючая трава.

Бортмеханик брался за узкую лопасть винта и поворачивал его на полтора-два оборота. Летчик кричал из кабины: «От винта!» – и бортмеханик отбежал назад, забирался по железной лесенке в самолет, а затем втягивал лесенку за собой и захлопывал дверцу.

Пропеллер начинал вращаться. За самолетом возникало желтое облако пыли, в котором струилась аэродромная трава. Гром раскатывался вокруг. Самолет выруливал на полосу. Он ехал, мягко покачиваясь на дутиках и на ходу шевеля элеронами, как бы разминая мышцы перед полетом. Потом он взлетал, втыкаясь в небо с упрямым ревом.

В детстве я летал с отцом на многих марках военных бомбардировщиков и транспортных самолетов. До сих пор названия «бостон», «Ту-4», «Ли-2», «каталина» – волнуют мой слух. «Каталиной» назывался огромный гидросамолет, который взлетал и садился на воду. Его пропеллеры были вынесены высоко над плоскостями, чтобы не задевать воды. От этого «каталина» казался удивленным самолетом, у которого глаза вылезли на лоб.

Я стал физиком и знаю принцип реактивного движения. Но я не люблю реактивных самолетов и стараюсь на них не летать. В душе я не понимаю, как может лететь самолет с дырками вместо пропеллеров. Действительность не убеждает меня. Меня убеждает детство, от которого осталось в ладони ощущение острой и теплой лопасти пропеллера.

Отец стал летчиком в те годы, когда зарождалась советская авиация. Он учился на летчика в Севастополе и летал на фанерных самолетах, которые вывозились из ангара лошадьми. На боку каждой лошади был написан номер, соответствующий номеру самолета. Самолеты часто разбивались. У отца в альбоме я видел групповую фотографию курсантов. Около трети группы были помечены крестиками. Эти курсанты погибли еще до войны.

Отец тоже чуть не погиб до войны, но по другой причине. В тридцать седьмом году его арестовали и объявили врагом народа. Два года он сидел в тюрьме. Отец оказался врагом многомиллионного народа. Потом Ежова сменили на Берия, в связи с чем отца выпустили и восстановили в звании и должности. Те два года знакомые обходили маму стороной, и ей было никак не устроиться на работу.

Если бы отца не выпустили, я мог бы не родиться вообще, хотя мне в это не верится. Мне кажется, что все, кто должен родиться, непременно рождаются. Более того, если они рождаются, чтобы выполнить какое-нибудь дело – они его выполняют несмотря ни на что.

Отец не любил вспоминать тридцать седьмой год. Об этом периоде я узнал, когда мне было шестнадцать лет, то есть после Двадцатого съезда.

Дальше его судьба складывалась более или менее удачно. Он воевал, имел много наград, дослужился до высоких званий и командовал разными авиационными соединениями. Потом он вышел в отставку и вскоре умер от инфаркта.

Ни я, ни брат не пошли по стопам отца.

И опять раздвоение души. Детство и юность прошли у меня в обстановке военных городков, среди людей в форме, приказов и воинской субординации. Я любил летчиков. Даже сейчас, встречая человека в военной форме, я гляжу на его погоны и радуюсь, замечая голубую окантовку. Мне кажется, что летчики вылеплены из особого теста. Их спокойный и добродушный фатализм восхищал меня. Обстановка в авиации в смысле воинской дисциплины и чиновничества всегда считалась и в действительности была более демократичной, чем в других родах войск. Может быть, исключая флот.

И все же я с детства невзлюбил армию как систему. Я еще ничего не понимал в жизни, а лишь ощущал огромный и точный в мелочах организм армии, остающийся бестолковым по самой своей сути.

Вероятно, я чего-то не усвоил, но сознание того, что миллионы людей на земном шаре заняты тем, что учатся убивать друг друга все более эффективно, – не умещается в моей голове. Если таковы исторические законы развития, то я отказываюсь принимать глупость таких исторических законов.

На этом можно поставить точку в главе об отце.

Мой отец был хорошим летчиком и мудрым человеком. Он понимал больше, чем я. Он отдал армии всю жизнь, и не его вина, что сын стал пацифистом.

Новое местожительство

Мы уехали из Москвы.

Мы ехали долго, через всю страну, и оказались во Владивостоке. Дальше ехать было некуда. Там наша семья стала жить. Местожительство заслуживает описания.

Это был специальный дом для воинских начальников. Он стоял на склоне берега Амурского залива, а вернее, бухты Золотой рог. На центральную улицу выходил лишь верхний третий этаж. Остальные этажи смотрели окнами во двор, куда с улицы вели железная дверь и каменная лестница. Двор был окружен железным зеленым забором.

За этим забором прошла моя юность.

Во дворе дома всегда стоял матрос-часовой с карабином. В полуподвальном помещении жила караульная команда во главе с мичманом. Матросы, которые нас караулили, дружили с детьми воинских начальников, играли с ними в футбол и другие игры. Служба не слишком их обременяла. Во дворе жила также сторожевая овчарка.

Слева от подъезда, выходящего во двор, стояли гаражи, заполненные черными машинами марки «ЗИМ», а справа росли деревья, и были площадки для игр и забав детей. В доме насчитывалось около десятка детей разных возрастов.

Дети не стеснялись своего происхождения. Они запросто обращались с часовыми. Мичман заискивал перед детьми, опасаясь, что они могут пожаловаться отцам. Мои детские переживания значительно усилились в доме за железным забором. Новые школьные товарищи определенно опасались заходить ко мне. Правда, были среди них и такие, которым нравилась избранность, и они, вероятно, гордились знакомством с высокопоставленными детьми. Но они не нравились мне.

Только через год или два я привык к часовым, и меня перестало удручать наше житье.

Любимым развлечением мальчишек двора было следующее. Вечерами мы прокрадывались за гаражи к забору. Нашим главарем был десятиклассник Витька, сын адмирала. В этом месте забор был деревянным, с узкими щелями между досок. Он отгораживал двор от матросского клуба, где по субботам и воскресеньям были танцы. Прильнув к щелям, мы наблюдали за темными аллеями и кустами, примыкавшими к забору. На аллеях стояли скамейки. В кустах и на скамейках мы видели матросов в белых бескозырках. Матросы обнимали подруг. Когда какой-нибудь матрос, осмелев от темноты и дыхания подруги, предпринимал решительные действия, Витька, а за ним и мы, начинали свистеть и улюлюкать. Подруга вскакивала со скамейки, поспешно опираясь юбку, а злой матрос с ругательствами подбегал к забору, желая вступить с нами в непосредственный контакт. Мы не убегали, потому что забор был высоким, генералы и адмиралы были еще выше забора и часовой с карабином охранял наши игры.

Покрутившись у забора и высказав все, что он о нас думает, матрос бросался искать убежавшую подругу.

Наши действия казались нам остроумными.

Эти забавы увлекали меня в восьмом классе. Уже в девятом я ушел с адмиральского двора в народ.

Красный охотник

Но сначала о радиолюбительстве.

В первое лето на Дальнем Востоке мы жили на казенной даче. Я еще не определился в школу и занимался на даче техническими поделками. Я выпиливал лобзиком фигурные палочки из фанеры. Работа требовала терпения, но не удовлетворяла результатами. Что-то было в этом несерьезное.

Рядом с дачным поселком стояла авиационная часть. Она входила в подчинение отцу. Я побывал там и зашел в мастерские. Обилие инструментов, приборов и деталей поразило меня. Мне страшно захотелось заниматься радиолюбительством. В те годы оно было популярно.

Я обложился журналами «Радио» и брошюрами типа «Как самому сделать радиоприемник». Между прочим, радиоприемник у меня был. Но оказалось, что радиоприемник, сделанный своими руками, отличается от купленного в магазине так же, как собственный глаз от вставного.

Теорию я усвоил сносно, но практика давалась сложнее. Нужно было научиться паять, гнуть железо, сверлить, наматывать катушки, дроссели и трансформаторы, клеить каркасы, производить монтаж – и еще многому другому.

Отец попросил старшину из мастерских приходиться к нам на дачу и обучать меня практическому радиолюбительству.

Тогда я не подумал, что просьба начальника – это приказ. Мне показалось естественным, что по вечерам к нам на дачу стал приходиться усатый старшина-сверхсрочник, который знал все о радио.

Впрочем, он сам, кажется, был доволен таким оборотом дела. Отец в скором времени помог ему с жильем. У старшины была семья.

Я до сих пор не знаю, как относиться к взаимным услугам. Казалось бы, это естественнейшая вещь. Люди, по-доброму относящиеся друг к другу, делают то, что в их силах. В силах старшины было обучить сына начальника техническим навыкам. В силах начальника было дать старшине жилплощадь.

Я уверен, что мой добрый старшина ни о чем не просил. Отец сделал сам.

От старшины я узнал массу интересных и полезных вещей. Мы собирали приемник прямого усиления. Списанные детали приносил старшина. Однако почти все, включая шасси и силовой трансформатор, я сделал своими руками. Целую неделю я мотал трансформатор, считая витки и перекладывая обмотки слоями тонкой конденсаторной бумаги.

Мой первый «силовик» сгорел. Из него пошел дым. Я взялся за второй. Старшина научил меня залуживать провода, крепить детали, чертить монтажные схемы, распаивать панельки радиоламп. От него я узнал волшебную фразу: «Каждый красный охотник желает знать, сколько фазанов село в болоте».

Вы, наверное, ее не знаете. А я знаю.

Эта фраза давала ключ к цветной маркировке конденсаторов и сопротивлений. Такая маркировка давно отменена, но тогда на деталях, в особенности на американских, можно было видеть цветные пояски и точки, обозначающие величину емкости или сопротивления.

Начальные буквы слов фразы обозначали цвета и соответствовали цифрам от единицы до девятки. Коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый.

И я ощущал себя красным охотником, желающим знать, сколько фазанов село в болоте.

Друг

Увлечение помогло найти мне друга. Не знаю, сошлись бы мы без радио. Мы начали дружить, меняясь деталями.

Его звали Толян. Он был очень высоким, под два метра, черным, худым и в очках. Когда Толян повзрослел, стали говорить, что он похож на Збигнева Цыбульского. Но тогда мы о Цыбульском не знали.

Его невозможно было звать Толей, Толькой или Толиком. Он был Толян. Он рано развился физически и в восьмом классе уже брился. Отец у Толяна был бурят, а мать русская. Когда Толян получил паспорт, мы узнали, что он тоже бурят. Вообще же, в школе мы совершенно не интересовались национальностями друг друга.

Толян был младше меня на месяц. Но и тогда, и теперь я относился к нему как с старшему.

До этого у меня уже был друг в Москве. Мы и теперь поддерживаем отношения и по привычке называемся друзьями. Но сейчас мы уже не друзья.

После Толяна я приобрел еще двух-трех друзей в институте. И все. Я не знаю, сколько положено иметь друзей. Хорошо, что они есть. Хорошо, что я встретил Толяна.

Мне трудно о нем писать. Любая правда выглядит подозрительной. Он был взрослый и застенчивый. Он стеснялся своего роста и бритого подбородка. Иногда на него «находило», и Толян начинал молотить классную доску сериями боксерских ударов. В классе жила легенда о том, как Толян занял первое место в городе по боксу. Это было в четвертом классе. Толян оказался единственным в своей возрастно-весовой категории. Физрук выставил его и не промахнулся. Наверное, он был уникальным чемпионом по боксу, который никого никогда не ударил.

Его любили и уважали. Он был бессменным старостой нашего класса. Довольно быстро мы перешли от обмена деталями к совместной работе. Каждый наш проект назывался «утопией» и имел порядковый номер. Некоторые из утопий осуществлялись. Например, мы радиофицировали школу и обслуживали школьные танцы, сидя в радиорубке. Наши экспонаты регулярно выставлялись на технических конкурсах.

Учительница физики Глория Федоровна гордилась нами и просила очередной экспонат перед каждой городской выставкой. Снабжать нас деталями Глории Федоровне не приходило в голову, несмотря на то, что физический кабинет был набит списанной с флота техникой.

Детали приходилось красть.

Честность Толяна была изумительной. Тем не менее он шел на операции в интересах дела. Мы оставались в физическом кабинете после уроков. Толян как наиболее честный из нас беседовал с Глорией Федоровной об очередном физическом законе. Это радовало физичку, и они совместно обсуждали тонкости. Я делал вид, что ждал друга. На самом деле я выполнял черновую техническую работу.

Прислушиваясь к их голосам, я бродил по кабинету с кусачками и отверткой в кармане. Я работал профессионально. Откусить от схемы конденсатор или сопротивление, вынуть из панельки лампу, отвинтить дроссель, сунуть за пазуху прибор непонятного назначения – все это было делом секунд. Толян не успевал исчерпать запас знаний Глории Федоровны, а я уже был заполнен деталями. Мы вежливо прощались и шли делить добычу.

Через месяц детали возвращались в физкабинет в виде звукового генератора, приемника или УКВ-радиостанции. Глория Федоровна торжественно несла их на выставку. Школа получала дипломы. Ни разу ни одна из похищенных деталей не была опознана Глорией Федоровной. Это утешало нашу совесть.

Мы модернизировали процесс подсказки. В классе, в щелях между половицами, мы протянули провода, которые кончались контактами у доски. В подошвах своих башмаков мы тоже

сделали контакты. Тонкие провода вели под одеждой от ботинок к воротнику, где был спрятан маленький телефон. Система была примитивной, но работала. Правда, трудно было одеваться с проводами.

Еще труднее было попасть ботинками на контакт у доски.

Толян водил машину и знал ее назубок. Он умел работать на станках. Он мог сделать своими руками любую деталь любого технического прибора. Мне не хватало терпения, я чаще генерировал идеи, чем доводил их до блеска. По-моему, мы хорошо дополняли друг друга. Толян научил меня тому, чему не успел научить старшина-сверхсрочник.

Толян любил девочку из нашего класса. Мне казалось, что он излишне ей предан и давно пора выкинуть ее из головы. Но Толян ходил с нею до десятого класса, и она привыкла к нему. Они вместе поступили в институт, проучились до конца и стали работать в одном институте.

А потом она вышла замуж за другого. Через некоторое время женился и Толян. Это произошло уже гораздо позже моего отъезда из Владивостока. Не знаю – что у них там произошло. Мы никогда не разговаривали с Толяном на такие темы.

В возрасте двадцати семи лет Толян утонул в Амурском заливе, поехав на рыбалку. Он не увидел своего сына, который родился через пять месяцев. Сына назвали Толей.

Комплекс полноценности

Живя в доме за железным забором, я остро чувствовал свой комплекс полноценности. У меня было все, чего можно пожелать. Здоровье, недурная внешность, обеспеченные родители, отдельная комната для занятий, увлечения делами и любовные (о них вскоре), друг и товарищи, брат и сестра. Часовой с карабином охранял мой сон.

Я знал, что многие мои одноклассники этого не имеют.

Отношение школьных учителей ко мне было двояким. Одни относились к комплексу спокойно, а другие нет. Последние не упускали случая, чтобы кольнуть меня высоким положением отца. Мол, некоторые полагают, что им все дозволено. Это меня огорчало и было ложкой дегтя в бочке моего комплекса.

Среди сверстников по-прежнему ценились личные качества: сила, ловкость, смелость, предприимчивость.

И опять же, как и в детстве, я страстно хотел завоевать авторитет товарищей личными качествами. На этот раз я избрал не курение и матерщину, а нечто совершенно противоположное. Я избрал спорт.

Я записался в секцию легкой атлетики и начал регулярно ее посещать.

Очень скоро я открыл в себе новые качества: азарт и честолюбие. Сейчас я понимаю, что они необходимы и полезны. В разумной мере, конечно. Но тогда я испытывал неловкость, потому что приписал их тому же комплексу полноценности.

Я с азартом вступал в любые состязания и непременно хотел их выиграть. Конечно, я немного хитрил. Я уклонялся от состязаний, требующих грубой силы – толкания ядра, например – и с удовольствием соревновался в беге, прыжках, спортивных играх, требующих ловкости, быстроты и сообразительности. У меня обнаружились хорошие физические данные.

Таким образом, испытывая некоторую неловкость от наличия комплекса, я всеми силами старался его укрепить. И мне это удалось.

Вскоре я уже был чемпионом и рекордсменом школы. Еще через год я выиграл первенство края и попал в состав сборной. К концу десятого класса я был чемпионом края среди взрослых, спортивной звездой первой величины, и мой портрет висел в краевом Доме физкультуры.

Оказалось, что избавиться от комплекса полноценности так же трудно, как от противоположного.

Я гордился тем, что заслужил собственную славу и выбрался из-под начальственной тени отца. На самом деле – помнили и то, и другое. Конечно, дорога в институт тебе открыта, – говорили те же учителя. – Мало того, что у тебя отец, но ты и сам великий спортсмен. И я снова испытывал гордость и стыд.

Слава Богу, я не зазнался. Мои товарищи относились ко мне нормально, несмотря на то, что мне не удалось победить свою полноценность.

Мне кажется, что комплексы являются врожденными. Я и теперь обладаю комплексом полноценности и считаю себя удачливым, счастливым человеком с легким характером и мизерными проблемами.

Насчет характера я не спорю. Не вижу в этом ничего дурного.

Относительно проблем – давайте не будем! Давайте не будем ставить себя в исключительное положение. Давайте не будем отказывать в праве на страдание улыбающимся людям. Им просто стыдно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом в непосредственной близости от окружающих. Они делают это дома, запершись в ванной и рассматривая свое опостылевшее лицо в зеркале эмалированного шкафчика, измазанном зубной пастой.

Право на страдание есть у всех, как на труд и на отдых.

А что касается профессиональных страдальцев и нытиков – я их презирал и буду презирать.

Вторые любви

Настало время рассказать о моих любовных увлечениях в юности. Делаю это с удовольствием. Почему-то всегда приятно вспоминать, каким ты был ослом.

Тут я, возможно, буду путать понятия любви и чувственности, потому что не умею проводить между ними границу. Я не Лев Толстой. Относясь к великому писателю с не менее великим уважением, я хочу сказать, что являюсь обыкновенным продуктом эпохи, неправильно или никак не образованным в науке отношений между полами.

Мою первую любовь Иру из седьмого класса я забыл быстрее номера ее телефона. Передо мной открывались юность и Дальний Восток, похожий на Дикий Запад. Меня ждали туземки и индианки.

Воспоминания о первой индианке – это сплошная чувственность. Извиняться не буду. В конце концов мне надоело извиняться. Я не хочу приукрашивать свой портрет.

На дачу, о которой я уже упоминал, приехали гости. Это были друзья отца. Они привезли с собою дочь семнадцати лет. Мне в то лето еще не исполнилось пятнадцати. Дочку звали Вера. Она была уже вполне оформившейся девушкой, как я сейчас понимаю.

Не помню, чем мы занимались днем. Вероятно, Вере было скучно с малышами – мною и моим одиннадцатилетним братом. Вечером нас уложили спать в одной комнате. Вера заняла кровать брата, я спал на своей, а брат устроился на раскладушке. Между мной и Верой был стол.

Я никак не мог заснуть. В комнате было темно. Вера не шевелясь лежала в постели. Брат заснул сразу. Я водил языком по пересохшему небу. Язык тоже был сухим.

– Принеси воды, – вдруг тихо приказала Вера.

Я встал и на цыпочках направился на кухню. Дом уже спал. Подушечками пальцев я ощущал холодный крашенный пол. Я ни о чем не думал, только боялся, что проснется мама. Сердце стучало в майку. Я зачерпнул кружкой воды из ведра и пошел обратно, не слыша себя.

– Вот, – прошептал я, протянув руку в темноту.

Ее пальцы коснулись моего локтя и, спустившись по руке, нашли кружку. След этих пальцев ослепительно вспыхнул в темноте. Она взяла кружку, а я остался стоять с протянутой рукой. Мне казалось, что рука стала бесконечной и превратилась в ее длинное прикосновение.

Так я стоял, пока холодная кружка не ткнулась мне в ногу выше колена.

– Попей, – сказала Вера.

Я опустил руку и схватил кружку за ободок. Постукивая зубами о край кружки, я глотнул воду. Что мне делать дальше – я не знал.

– Чего ты стоишь? – спросил ее голос.

Я вдруг улегся на стол животом и свесил голову к ее подушке. Рука с кружкой существовала где-то в пространстве. Другой рукой я держался за край стола.

Из темноты выплыло ее лицо. Оно коснулось моей щеки, и мягкие губы поползли по ней к моим губам. Я повернул голову, и ее губы оказались у другой моей щеки. Рука с кружкой вдруг вернулась ко мне. Я почувствовал, что она напряженно застыла в воздухе над раскладушкой брата.

– Поставь кружку, – сказала она.

Легко сказать! Я не знал, куда ее поставить. Тогда Вера снова избавила меня от кружки, поставив ее на пол. У меня появилась рука, ладонь и пальцы.

Дальше были прикосновения – без слов и поцелуев. Моя свободная рука нашла ее и тихо двинулась в путь, ужасаясь происходящему. Рука думала отдельно. Я же не думал совсем, а только касался ее лица неподвижными губами. Рука нашла пуговку на спине и удивилась. Ее пальцы путешествовали по моему затылку к шее. И мои пальцы поехали куда-то по узенькой

и гладкой полоске материи. Уши горели. Одним из горячих ушей я ощущал жар ее дыхания. Моя рука пробралась к ее груди, и я почувствовал, что теряю сознание.

Тут проснулся брат и приподнялся на раскладушке.

– Ты чего на стол залез? – спросил он.

Мы с Верой отлетели друг от друга бесшумно, как тени. Я услышал, как противно скрипнуло о пол днище кружки. Кружка полетела по воздуху, и раздался глубокий спасительный звук глотка.

– Жарко... – вздохнула Вера. – Хочешь воды? – спросила она брата.

Сонный брат нехотя выпил воды. Я стал сползать по столу на животе к своей кровати и упал в нее наоборот, оказавшись ногами к подушке. Переворачиваться я не решился, а только перетянул по себе подушку к голове, перевел дух и прислонился щекой к ледяной никелированной спинке кровати. Потом я заснул.

На следующий день Вера вела себя так, будто ничего не произошло. Вообще ничего. Мне даже стало казаться, что все приснилось. Я ощущал досаду. Я был уверен, что наша ночная тайна связала нас на всю жизнь. Но напоминать об этом я не решался.

Оказалось, что близость – а это и было тогда близостью для меня – не имеет решающего значения. Открытие меня ошеломило и продолжает ошеломять до сих пор, правда, в сильно разбавленном виде. До сих пор я испытываю недоумение, когда обнаруживаю, что ночные страсти, прикосновения, разговоры – наутро исчезают куда-то, затихают, обесцвечиваются и во всяком случае не способны перевернуть жизнь вверх дном.

Мы с Верой пошли на пляж и купались. Потом мы укрылись в душевых кабинках, чтобы смыть соленую морскую воду. Женская и мужская кабинки разделялись деревянной перегородкой, в которой были просверлены дырки. Они не были даже замаскированы.

Я прильнул к одной из них глазом. Холодная вода падала на меня из душа. Я трясся всем телом, зубы у меня стучали. За перегородкой в тонких струйках воды стояла Вера. Плавными движениями рук она омывала тело. Не знаю, приходило ли ей в голову, что перегородка усеяна отверстиями. Во всяком случае, она вела себя совершенно спокойно и артистично.

Я же дрожал, повторяю.

В мою кабинку вошел какой-то мужик, и я отпрянул от дырки. Мужик стукнул меня кулаком по заду, ухмыльнулся и сам припал к отверстию. Я в ужасе выскочил из кабинки, едва успев натянуть трусы.

Этот опыт чувственности не повлиял заметно на мою жизнь. В последующие два года ничего похожего не случалось. Были школьные увлечения, которые проносились с пугающей быстротой. Я был тщеславен. Девочки из нашего класса меня не интересовали. Но я совершенно преобразался, когда чувствовал внимание посторонних девочек.

В девятом классе я испытал любовь десятиклассницы. Ее звали Таня. Она пела эстрадные песенки на школьных вечерах, то есть была в некотором роде звездой. Я тоже был звездой, но спортивной. Мне передали, что она интересуется мною. Я испытал страшную гордость и возвысился в собственных глазах.

На очередном вечере я пригласил ее танцевать, а потом пошел провожать. Мы молчали. Возможно, что-то зарождалось в наших душах, но зародиться не успело. У подъезда ее дома стояли двое. Когда мы подошли, я узнал в них ее одноклассников. Один из них без лишних слов стукнул меня в грудь. Я покачнулся, но не ответил. Я понимал незаконность своих притязаний.

Таня молча скользнула в подъезд, оставив нас выяснять отношения. Но выяснять было нечего. Второй тоже сунул мне кулаком в грудь, однако не очень сильно. Он явно выполнял формальность. Я вяло ударил его в плечо, и мы тут же разошлись.

Вот так кончилась эта любовь. Пожалуй, она была рекордно короткой.

Следующей была девочка на год младше меня. Она училась в восьмом классе. Ее подружки передали мне записку – удивительно глупую и претенциозную. Я тогда этого не понимал. Мне льстило женское внимание.

Мы пошли с нею в кино. Фильм оказался хорошим. Он назывался «Дом, в котором я живу». После сеанса я шел и думал о людях, которых увидел на экране, о девушке, которая погибла, и в голове у меня вертелась простая и трогательная песенка из этого фильма.

И тут моя подружка сказала какую-то чепуху и глупо захохотала. Этого оказалось достаточно, чтобы любовь, не успев вспыхнуть, снова погасла. Мне стало стыдно и досадно.

– А у меня завтра день рождения, – сказала она. – Я тебя приглашаю. Ты придешь, придешь?...

И стала заглядывать мне в глаза.

– Приду, – буркнул я.

Я подумал – ладно уж, приду, так и быть, а то получается что-то слишком ветренно с моей стороны. Я думал, что будет обычный день рождения: мальчики, девочки, танцы под радиолу... Как бы ни так!

Я пришел с большой коробкой конфет и цветами. Как жених. Дома были она и ее родители. Небольшой круглый стол был накрыт на четверых. У меня сразу упало сердце. Я почувствовал, что сравнение с женихом не слишком преувеличено.

Отец помог мне снять плащ и повесил его на вешалку. Мать смотрела на меня добрым испытывающим взглядом. Он накладывал на меня великую ответственность за все, что произошло или когда-либо произойдет с ее дочерью.

Меня усадили за стол и открыли шампанское. Жуткая тоска проникла в мое сердце. Дверца мышеловки захлопнулась. Теперь я как честный человек был обязан жениться. Эта мысль предстала передо мною во всей неотвратимости. Мне стало жаль себя – слишком юного, не успевшего вкусить.

Между тем родители повели со мною светскую беседу. Я отвечал учтиво, но без душевного подъема. Я старался показаться скучным и туповатым субъектом. Это давало маленький шанс на спасение.

– Леночка, угости Петю печеньем, – сказала мама. – Вы знаете, Леночка сама его пекла, – обратилась мама ко мне.

Я покорно взял печенье. С трепетом я ожидал рокового вопроса: «Когда же свадьба?» – или чего-нибудь в этом роде. Но вопрос почему-то не прозвучал. Мне удалось вырваться на улицу. Я шел домой и пел песни, с удовольствием вдыхая юный запах свободы.

Потом я стал избегать Лену.

Я прятался от нее как мог – в школе и на улице. Она записалась в мою спортивную секцию и дважды в неделю являлась на тренировки в черных широких трусах, обтягивающих ноги резинками. Эти трусы окончательно стерли остатки теплых чувств с моей стороны. Я не разговаривал с нею, словно вспомнил вдруг, что мы незнакомы.

Она поймала меня на предмет серьезного разговора после зимнего первенства города. Я занял первое место и шел домой в упоении. Брат тащил рядом мою спортивную сумку, как оруженосец. Вдруг я услышал позади противный мелкий стук каблучков. Я сразу догадался.

Она поравнялась со мною и, придав брату легкий, но повелительный импульс в спину, сказала ему:

– Оставь нас наедине!

Брат посмотрел на меня с сочувствием, но повиновался.

Она изобразила на лице сложную гамму чувств. Я ничего не изобразил, кроме унылого ожидания. И тут она выдала классическую сцену оскорбленной и покинутой невинности. Я почувствовал себя законченным подлецом. Вместе с тем решимость никогда ни при каких условиях не жениться на ней – окрепла необычайно.

Она заплакала натуральными слезами, чем только ожесточила мое сердце.

– Я никогда, никогда больше не встречу никого! – всхлипывала она. – Это останется со мной на всю жизнь.

– Встретишь... – вяло возразил я.

– Не смей так говорить! – топнула она ножкой.

С трудом удалось ее успокоить. У своего дома она утерла слезы и попыталась улыбнуться.

– Расстанемся друзьями, – сказала она вычитанные где-то слова.

Как я узнал позже, она выскочила замуж сразу после выпускных экзаменов на аттестат зрелости.

Вышеперечисленные любви были исключительно целомудренны, хотя едва не привели к женитьбе. Во всяком случае, не было даже поцелуев. Это обстоятельство огорчало меня, потому что целоваться хотелось. То есть не то, чтобы хотелось – просто являлось общепринятым. Отсутствие поцелуев делало любовь неполноценной.

Я твердо решил избавиться от этого недостатка и поцеловать какую-нибудь девушку. Очень кстати явилась и девушка. Это было после девятого класса, на той же даче, где я два года назад несколько ускорил события в ночном приключении с Верой. На соседней даче отдыхала семья капитана первого ранга. Его дочка была черненькой, хорошенькой, пухлощечкой, с роскошной косой.

Мы качались на качелях, и она обнимала руками широкую юбку. Мы гуляли по вечерам, и наши щеки пылали. Рядом с нами всегда вертелся мой брат. Вообще, во всех моих любовных начинаниях или окончаниях брат играл скромную, но постоянную роль.

Очень скоро он стал нам мешать. Во взглядах и движениях моей новой возлюбленной появилась досада. Каникулы кончались. Вскоре она должна была уезжать с семьей в свой военный городок, где была военно-морская база, а поцелуй медлил исполнением.

Произошло все внезапно. Однажды, в очередной раз проводив ее вечером до калитки, я увидел, что брата отвлекли поиски светляков. Он шарил в траве, выискивая и пряча в горсти крупные синеватые звездочки. Я уже отпустил возлюбленную за калитку, не выпуская, впрочем, ее руки из своей, но мгновенно оценил обстановку, притянул девушку к закрытой калитке и быстро чмокнул в щеку, на которой лежал изящный маленький завиток. Собственно, чмокнул в завиток.

Она с готовностью подставила лицо, прикрыла глаза, и мы стали целоваться уже всерьез, пока не заметили, что нам что-то мешает. Это была калитка с заостренными полосками штакетника, которая находилась между нами. Ребра штакетника весьма чувствительно упирались в грудь, а заостренные концы вонзались в подбородок. Однако открыть калитку было нельзя, ибо для этого пришлось бы хоть на миг оторваться друг от друга. Так мы обнимались – возлюбленная, я и калитка – пока брат не принес полную пригоршню светляков. Я одарил ими возлюбленную. Она украсила свою черную широкую косу и ушла по дорожке, мерцая в темноте, как маленькое удаляющееся созвездие.

После этого до последнего дня каникул мы целовались каждый вечер с отчаянной добросовестностью дилетантов, которым поручили трудную профессиональную работу. Брат был тактичен и предан. Он истребил всех светляков в поселке. В его взгляде я читал стойкое непонимание необходимости наших долгих и бессмысленных занятий.

И эта возлюбленная испарилась из моей памяти быстрее летнего утреннего тумана, выражаясь изысканно и фигурально.

Если вам не надоело мое безудержное донжуанство, могу сообщить, что подобных романов до моей женитьбы было еще несколько. Все они стремительно развивались до первого поцелуя, а дальше замирали в недоумении. Что могло быть дальше?... Я этого не знал. Обрывки искаженных сведений о жизни мужчин и женщин, почерпнутые на улице, образо-

вывали в моем сознании грубую и пугающую картину. Интимная жизнь казалась стыдной и непристойной.

Все это привело к тому, что я женился двадцати лет на девушке, которая имела еще более туманные представления о любви. О наших совместных поисках истины можно написать отдельную поучительную книгу. Это была бы очень смешная и грустная книга. Это была бы книга о том, как двое молодых людей, знакомых с функциями Лагранжа и историческим материализмом, вынуждены были самостоятельно изобретать велосипед. Я опять выражаюсь фигурально. К сожалению, в нашем языке слишком мало слов, которыми можно пользоваться для описания всех этих дел, не нарушая приличий.

Политика

Сейчас я хочу рассказать о тех общественных потрясениях, которые заметно повлияли на мое мировоззрение.

Мировоззрение, пожалуй, – слишком громкое слово. Я до сих пор не уверен – есть ли оно у меня. В таком случае, если угодно, я расскажу о событиях, которые привели к отсутствию мировоззрения.

В детстве я был тихим конформистом. Мои родители были членами партии. Я занимал небольшие руководящие посты в школьной пионерской организации. Я любил гладить утюгом шелковый красный галстук и сам пришивал к рукаву белой рубашки лычку звеньевского.

В вестибюле школы висел большой транспарант. На нем было написано: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» На пионерских слетах и торжествах я пел в составе мужского квартета. Мы пели песню «По улицам шагает веселое звено» и еще одну, текст которой сейчас утерян. Восстанавливаю его по памяти. Мы пели примерно так:

Русский с китайцем – братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек.
Сталин и Мао слушают нас.

Здесь все ложь – от первого до последнего слова. К сожалению, я узнал это значительно позже. А тогда я пел, выпятив грудь с галстуком, и мне казалось, что Сталин и Мао и впрямь нас слушают.

Однажды произошел эпизод, который я запомнил. Что-то я понял в тот момент. Я понял, что не так все безоблачно, как написано на транспаранте. В те годы я еще не знал, что отец сидел в тридцать седьмом году.

Так вот. На первомайских парадах над Красной площадью пролетали самолеты. Было известно, что первый самолет, четырехмоторный бомбардировщик типа «летающая крепость» ведет Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича. Василия Сталина обычно сопровождал эскорт истребителей.

Направляясь к Красной площади, Сталин пролетал над крышей нашего дома. В тот день отец не пошел со мною смотреть парад, и мы прогуливались с ним во дворе. Вокруг была музыка первомайского дня, воздушные шары, леденцы на палочке и бумажные мячики, набитые опилками. Мячики прыгали на тонких резинках.

Я бросал мячик, и он возвращался ко мне. Внезапно послышался гул самолетов. Я поднял голову и увидел «летающую крепость», по бокам которой, чуть впереди нее, неслись две пары истребителей.

Истребителям было положено лететь чуть позади. Эскорт явно опережал Василия Сталина и рисковал прибыть на площадь раньше него.

– Сталин отстал! Сталин отстал! – завопил я восторге, тыча пальцем в небо.

Отец подскочил ко мне и зажал рот ладонью. Это было так неожиданно, что я растерялся. Отец побледнел. Я впервые увидел на его лице выражение страха. И главное – я ничего не понимал.

– Не ори глупости! – тихо сказал он и снял ладонь с моего рта. Потом он вдруг покраснел, засунул руки в карманы, резко повернулся и отошел. Я остался стоять с раскрытым ртом. Я даже не спросил – почему нельзя обратить внимание окружающих на забавный эпизод в небе.

Память у меня, надо сказать, дырявая. Но этот случай я помню очень хорошо.

Смутно запомнилось еще какое-то «дело врачей». В журнале «Крокодил» были нарисованы противные люди в белых халатах, с длинными хищными пальцами, с которых капала кровь. Примерно в то же время из нашего класса ушел Яша Тайц. Он жил по соседству в красном кирпичном доме, где было много профессоров, а потом уехал жить куда-то в другое место.

Затем Сталин умер. Об этом я уже упоминал. В скором времени взяли и разоблачили Берию. Мы пели частушку «Берия, Берия, вышел из доверия!» – и нас не очень занимал вопрос, каким же образом ему удалось войти в доверие?

Сталина положили в мавзолее рядом с Лениным. Это было естественно и справедливо. Сталин лежал в форме генералиссимуса. Там еще оставалось много места. Я ходил с отцом смотреть Сталина. Тогда я подумал, что мавзолеей специально сделали попросторнее, чтобы хватило на всех. Теперь я думаю, что он не такой просторный, как кажется.

Двадцатый съезд случился, когда мне шел шестнадцатый год. Это было уже во Владивостоке. И вот тут-то я ощутил тот великий стыд, о котором уже говорил. Я читал газеты и думал. Я разговаривал с отцом. «Как же так? Неужели никто не знал?» – спрашивал я с юношеским негодованием. – «Кто-то знал. Кто-то догадывался. Большинство думало, что так надо», – сказал отец. – «Но почему же никто не сказал правду?» – «Когда ты вырастешь и захочешь сказать свою правду, ты поймешь, что это не так просто».

Сейчас я это понимаю.

Мне дали хороший урок безверия. Я чувствовал себя виноватым перед расстрелянными и замученными. Так, вероятно, бывает, когда узнаешь о предательстве любимого человека. Я понял, что еще один шаг – и я разуверюсь во всем. Но я не сделал этого шага.

Я опять испытал стыд и гордость. Гордость за то, что правда сказана, и стыд перед всем миром, что она так долго была беспомощна перед ложью. Потом я стал думать, что все относительно – нет ни правды, ни лжи, а есть лишь меняющаяся точка зрения. Ради удобства можно называть правдой любую ложь, можно даже заставить себя поверить в нее и все-таки...

Все-таки правда абсолютна. В ее основе лежит чувство справедливости. Правда, как и Бог, – одна. Не случайно он ее видит, но почему-то не скоро скажет.

Предвижу яростные возражения и нападки. Особенно со стороны философов, которых, честно сказать, не люблю. Они способны запутать любое дело. А правда, кроме всего прочего, – проста.

Прошу также помнить, что я человек без мировоззрения. Мне его заменяет ирония.

Я не думаю, что ирония лучше мировоззрения. По правде сказать, она мне здорово надоела. Ирония – опасное состояние ума, разъедающее душу. Она очень удобна, когда речь идет о том, чтобы выжить в обстановке беспросветной глупости и лжи. Она улыбается над всякой позицией, требующей решений и активных действий. Ирония пропитана скепсисом, как губка, которую подавали умирающему Христу – уксусом.

Скепсис и уксус – очень похожие слова.

Отец говорил мне, что я аполитичен. Это его огорчало. А-политичен, бэ-политичен, вэ-политичен и так далее до конца алфавита... Я-политичен.

Мне очень хотелось бы узнать – каким образом из пионерского мальчика с искренним выдохом на губах «Всегда готов!» – получился рефлексировующий ироничный субъект, готовый разве что грустно улыбаться над явлениями жизни. Как это произошло? Кто виноват в этом?

Профессия

После легких и приятных волнений юности настала пора избрать жизненный путь. В вопросах выбора этого пути существует явная недоработка. Я хорошо и ровно учился по всем предметам. Меня увлекали на разных этапах математика, физика, химия, девушки, спорт и литература.

История меня тоже увлекла, как вы поняли из предыдущей главы.

Спорт и девушек в качестве направляющих жизненного пути я отбросил сразу. Правда, по-настоящему это удалось сделать только со спортом. Девушки, а потом и женщины, еще долго существенно влияли на конфигурацию моего жизненного пути. Но хватит об этом.

Почему-то в то время из поля зрения входящего в жизнь юноши совершенно выпадали такие нормальные человеческие занятия, как хлебопашество, слесарное и столярное дело, строительство, торговля и многое другое. Я говорю о юношах из так называемых «приличных» семей.

Выбор был таков: наука, искусство, военное дело.

Последнее, если говорить обо мне, фигурировало чисто номинально как наиболее простое. Отец легко мог составить мне протекцию в любое высшее воинское училище. Именно поэтому мысль о таком жизненном пути сделалась мне ненавистной. Кроме того, я уже говорил о своем отношении к армии.

Я считал и считаю сейчас, что распространенная идея – идти по стопам своего отца – является неплодотворной. Она неплодотворна во всех случаях. И в том, когда отец добился на избранном поприще известных высот, и в обратном.

Порассуждаем на эту тему подробнее. Она меня занимает.

Допустим, что отец достиг в своей области совершенства или весьма к нему приблизился. Так обстояло дело у меня. Тогда дорожка оказывалась проторенной. Сын долгое время мог следовать по ней, находясь в начальственной тени отца. Имя сына вливалось в имя отца, ничего не прибавляя ни тому, ни другому. Быть всю жизнь лишь сыном своего знаменитого отца – скучная перспектива для честолюбивого юноши. А я, напомню, был честолюбив. Сыновьям известных отцов очень трудно утвердиться и легко жить. Может быть, одно вытекает из другого.

Вы скажете, что бывает иначе. Сын может превзойти отца. Да, но тогда это будет как раз обратный случай. Следовательно, отец не добился крупного успеха, и сын со временем затмил его. Такое бывает реже или просто менее известно. Этот случай, казалось бы, благоприятный для сына, тоже чреват неудобствами. Он не совсем этичен по отношению к отцу. Последнему, может быть, и все равно – но каково сыну? Каково ему думать об отце как о неудачнике и ощущать себя стоящим на его плечах?

Каково сознавать, что жизнь отца свелась лишь к расчистке пути?

Короче говоря, я настоятельно советовал бы молодым уклониться от жизненного пути отца и искать себя на других тропинках. По крайней мере, никому не будет обидно.

Мы выбрались из рассуждений и вернулись туда, откуда начали. То есть к моменту окончания мною десятого класса. Мы шли с отцом по берегу Амурского залива и говорили о будущем. Мое будущее рисовалось отцу блестящим – он верил в меня. Мне оно виделось тоже не менее грандиозным – но в какой области?

Архитектор? Журналист? Математик? Физик? Писатель, черт возьми?!...

Какие возникали в наших головах картины! Международные фестивали, съезды и симпозиумы! Тиражи книг! Научные открытия! Статьи во всех газетах! Стыдно вспоминать...

Сейчас мне за тридцать. Я выезжал за границу однажды, о чем в свое время. Моя фамилия известна на этажах дома, где я живу, и института, где я работаю. Тем не менее, я довольно-таки счастлив, потому что этой известности я добился сам.

И дело вовсе не в известности.

Я стал физиком. В то время многие хотели стать физиками, химиками и инженерами. Сейчас почему-то нет. Кажется, я руководствовался желанием проникнуть в тайны материи. В тайны я не проник, но точные науки дали мне необходимое для жизни стремление к истине. Сознание того, что свою правду можно экспериментально проверить и математически доказать, очень помогает жить. Другими словами, мне радостно думать, что есть незыблемые вещи, вроде закона сохранения энергии, над которым не властны мнения начальства, постановления партии и исторические оценки. В окружающей нас жизни, а так же в истории, литературе и искусстве, тоже есть такие вещи, но, Господи! – сколько воды утечет, пока правда восторжествует.

Жена

Я был бы неправ, если бы в своей автобиографии ни словом не обмолвился о жене. Собственно, я уже обмолвился.

Я перевелся в Ленинград, окончив два курса института. Перевод был связан с новой службой отца. Я по-прежнему был комнатным домашним растением. Жизнь вне семьи пугала меня.

Менее чем через год я женился на девушке, которая училась со мною в одной группе.

Методика выбора жены еще менее разработана, чем методика выбора профессии. Я смутно надеялся, что судьба сведет меня в нужный момент с той, которая... И тому подобное. Я не прикладывал к этому никаких усилий. Моя будущая жена еще менее того. Она даже активно сопротивлялась. Но судьба сделала свое дело на самом высоком уровне, направив нас друг к другу и бережно подталкивая до самых дверей Дворца бракосочетаний.

Внешне все выглядело исключительно безответственно. Но в этой безответственности проглядывала неукоснительность, характерная для законов материи.

Она мне понравилась. Я ей не очень. Это меня обескуражило. Я привык нравиться. Клянусь, что она не кокетничала. Она не умела и не умеет этого делать.

Я стал ходить за ней. Она стала бегать от меня. Я убеждал ее, что в нашей встрече есть какой-то смысл. Ее упрямство могло поколебать мой комплекс полноценности, к которому я уже привык. Мы занимались физикой и математикой. Мы доказывали вместе теорему Коши. Поясню для непосвященных – это знаменитая и довольно тонкая теорема о существовании и единственности решения систем дифференциальных уравнений. Мы успешно доказали ее на экзамене.

Вот уже много лет мы доказываем теорему о существовании и единственности нашей семьи. Мы запасались такими крепкими аргументами, как двое детей, общий круг друзей, дружба и понимание. Не говоря о квартире и хозяйстве.

Я уверен, что задача имеет решение. Но доказательство много труднее того, что придумал Коши. Оно требует постоянных душевных сил и терпения. Слава Богу, мы оба это понимаем.

А началось все с того, что после весенней сессии нам вздумалось вместе поехать на юг. Мы сообщили об этом родителям. Тогда еще было принято это делать. Мои родители только пожалы плечами. Ее родители изумились. Они напомнили нам, что мы не муж и жена, а следовательно, не имеем права на подобные поездки.

– Ах, так! – сказал я. – В таком случае доставим им это маленькое удовольствие и поженимся.

Таким образом женитьба стала способом проведения летних каникул. Дальше мы не заглядывали. Я думаю, что если бы мы заглянули дальше, то стали бы раздумывать и сомневаться. Но в двадцать лет не раздумывают – и правильно делают.

Я взялся за дело с присущей мне в те годы энергией.

Сначала я обработал маму. Ее легко убедить. Потом мы вместе навалились на папу. Отец был недоволен. Ранний брак мог помешать моему блестящему будущему. В конце концов он сказал – делай как знаешь.

Мы познакомили родителей. Об этом нужно писать отдельно. Дело было улажено, и мы стали готовиться к свадьбе. Кажется, мы оба испытывали неудобство и смущение от своего раннего брака. Нам казалось, что над нами будут смеяться.

Надо сказать, что тогда сначала договаривались жениться, а потом выясняли некоторые подробности, связанные с браком. Я не уверен, что это самый правильный способ, но и другие вызывают во мне смущение.

Отец уехал в командировку. Мы сидели рядышком и строили планы. Ее родители были на даче. Вечером я позвонил маме и решительно заявил, что домой сегодня не приду. Мама только ахнула в трубку. Конечно, если бы дома был отец, я никогда бы не решился на такой дерзкий шаг.

Я остался у моей милой и любимой, чтобы начать с нею поиски истины, о которых уже говорил. Учитывая нашу теоретическую подготовку, это было смешное и трогательное занятие.

Утром я впервые в жизни проснулся в незнакомой постели. Рядом спала моя жена. Она была очень хороша во сне – волосы разметались по подушке, лицо словно светилось.

Но разглядывать ее не было времени, потому что проснулся я от того, что в замке поворачивался ключ. Я вскочил с кровати и одним движеньем натянул трусы, дико озираясь. Жена мгновенно проснулась и прошептала:

– Это папа! Я думала, он не придет...

– Думала, думала! – прошипел я. – Лучше скажи – куда мне деваться?

Она вдруг уронила руки и засмеялась совершенно безответственно. Мне же было не до смеха. Ее отец уже шаркал ногами в прихожей. Я вылетел на балкон и прижался лопатками к кирпичной стене.

Сейчас я представляю, каким идиотом я выглядел в тот момент на балконе. Вид снизу: молодой человек в синих сатиновых трусах, прижавшийся спиной к стене, будто балансирующий на карнизе. На лице сумасшедшее выражение. Кстати, оно возникло в первую же секунду, когда в голове промелькнула мысль: «Ботинки!» Конечно, мои ботинки сорок второго размера все еще торчали посреди прихожей. Они наверняка не догадались выпрыгнуть в окно. Равно как и брюки.

– Ну, выходи, выходи! Простудишься, – раздался голос ее отца из комнаты.

Я вышел и вытянулся перед ним, потупившись. Голый человек совершенно беспомощен перед одетым. Жена спряталась с головой под одеялом. У меня мелькнула мысль, что сейчас нам не разрешат жениться – и все! Хотя теперь-то на этом стоило бы настаивать.

Мы выслушали небольшую лекцию о нашем моральном облике. До свадьбы было девятнадцать дней. Жена заплакала под одеялом. Ей было стыдно. Мне разрешили надеть брюки. Ко мне вернулось самосознание.

После свадьбы мы почему-то не поехали на юг, а отправились в деревню. Мы спали на сеновале, а днем бродили по лесу. Вокруг звенел и жужжал июль. Солнце каталось по небу слева направо. Мы падали в траву, как скошенные цветы, и касались друг друга лепестками. Задумчивые божьи коровки взлетали с наших ладоней, как с аэродромов. «Божья коровка, улети на небо, там твои детки, кушают конфетки». На облаке сидел бородатый Бог и укоризненно покачивал головой. Впрочем, он одобрял нас. Браки заключаются на небесах, как я выяснил позже. Вероятно, Богу весело и забавно было смотреть на детей в высокой траве.

Через месяц жена сказала, что у нас будет дочка.

Я не оговорился насчет дочки. Она всегда знала и знает все наперед. Когда я прошу объяснить мне научно источники ее знания – она только беспомощно улыбается. Видимо, у нее завязались дружеские отношения с Господом Богом еще там, в деревне, посредством божьих коровок.

Типичный представитель

Я думаю, что пора заканчивать рассказ о детстве и юности. К двадцати годам человек накапливает почти все, необходимое для выживания. Дальше он начинает понемногу терять. О некоторых потерях я уже говорил.

В сущности, достаточно иметь очень немного. Одну мать, одного отца, одного брата, одного друга, одну любовь, одну жену, одно дело, одну страну, один язык.

Обо всем этом я и рассказал.

И множество обстоятельств жизни, из которых получаются взгляды и сомнения.

Меня берет сомнение – кому нужна моя биография? Не злоупотребил ли я вниманием? Я не космонавт, не олимпийский чемпион, не народный артист, не академик и не Герой Социалистического Труда. Я вообще не герой. Героического крайне мало во мне.

У каждого хватает своих забот. У многих жизнь складывается так, что им не достает даже того малого, что есть у меня. Так зачем, спрашивается, я лезу со своей биографией, если точно такая же есть у вас, вашей жены и друзей? Не лучше ли было сочинить что-либо необыкновенное и потешить публику исключительным и неповторимым?

Этак каждый начнет писать свои биографии!

Я отвечу – и прекрасно! Пускай каждый напишет о себе правду и даст почитать другому. Мне кажется, что это будет способствовать взаимопониманию. Кроме того, пишущий автобиографию убедится, что ничего исключительного в нем нет, что все мы похожи в главных чертах и каждый является типичным представителем своего поколения и социальной группы.

Как убедился в этом я.

Все мы в школе писали сочинения о типичных представителях. Могло создаться мнение, что типичный представитель – это нечто вроде унифицированного блока телевизора. Он построен из стандартных деталей по стандартной схеме. Между тем, каждый типичный представитель у классиков имел свой дом, свою бабушку и маму, свои приключения и находки. Что же делало его типичным представителем?

Образ мыслей.

Удивительное дело – мысли у всех разные, а образ мыслей один. Я долго сопротивлялся тому, чтобы признать себя типичным представителем. Мне казалось, что во мне есть что-то неординарное, и мысли иной раз приходили в голову дерзкие и решительные. Я смотрел передачи, читал книги про тружеников наших полей и заводов и думал, что мое лицо не такое. Вот они и есть типичные представители, а я нетипичный, особый, ищущий и размышляющий.

Мне казалось, что я все понимаю. А иногда казалось, что я ничего не понимаю. Я не понимал, почему мы сами себя хвалим, почему черное то и дело называют белым и почему мой образ мыслей – как бы это выразиться поточней? – мало соответствует общепринятому образу мыслей советского человека. Последнее меня огорчало. Я уже готов был поверить в то, что мои глаза устроены как-то иначе. Они устроены негативно и видят белое черным, в то время как нормальные люди видят правильно. Белое – белым, а черное – тоже белым.

В таких условиях я не мог себя считать типичным представителем.

Чтобы не выделяться, я начал прикидываться дурачком. Стал валять ванычу, как говорится. Оказалось – это удобно. С дурачка какой спрос? Он даже если что и ляпнет невпопад, и назовет черное черным – так это по дурацости. Над ним можно посмеяться.

Мне не нравилась моя двойственность, потому что в душе я считал себя человеком серьезным, даже печальным, и сердце у меня болело по поводу глупостей и лжи.

Я склонен был винить себя. Мне очень хотелось пристроиться и шагать в ногу, с песнями, с большой и широкой гордостью за себя и других людей.

Но присмотревшись повнимательнее, я увидел, что напрасно приписываю себе оригинальность. Оказалось, что большинство людей видят то же, что вижу я. И вовсе не прикидываются при этом дурачками. Они просто делают свое дело, а сердце болит у них не меньше моего.

Написав автобиографию, я окончательно убедился в том, что являюсь типичным представителем. Ничего не было в моей жизни такого, чего бы не было ни у кого. Различия характеров не имеют значения. Все или почти все размышляют о жизни и приходят к невеселым выводам.

Я же пришел все-таки к одному веселому выводу. Нас много, типичных представителей. Мы сумели, оставаясь типичными представителями, не озлобиться, не потерять веры в людей и не позволить себе стать циниками.

И это самая громкая фраза, какую я могу себе позволить.

Часть 2. Глагол «инженер»

Без пяти минут

В один прекрасный день я осознал, что заканчиваю институт.

Это было в начале сентября, когда нас собрали на кафедре, в лаборатории измерительной техники, и объявили, что начинается преддипломная практика.

Все обставили очень торжественно. Принесли откуда-то доску и водрузили ее на звуковой генератор. Профессору сделали возвышение. Преподаватели стояли неровным строем, заложив руки за спину. Они испытующе смотрели на нас. А мы победоносно смотрели на них, потому что знали, что теперь поделаться с нами ничего невозможно. Они просто обязаны нас выпустить с дипломами.

Профессор вскарабкался на возвышение и сказал:

– Немного вас осталось, друзья мои...

– Вашими заботами, Юрий Тимофеевич, – пробормотал Сметанин, который сидел рядом со мной. Сметанина пытались выгнать дважды, но он каким-то чудом удержался. Вместе с ним удержались еще семнадцать человек из первоначальных двадцати пяти. Институт у нас, надо сказать, крепкий.

– Но ничего. Мал золотник, да дорог, – продолжал профессор. – Я поздравляю вас с началом шестого, последнего, дипломного курса. Вы уже без пяти минут инженеры...

Я посмотрел на часы. Было десять минут первого. Следовательно, в двенадцать пятнадцать мы должны были превратиться в инженеров. Я стал ждать.

Профессор проговорил еще минут пять, и я почувствовал, что действительно что-то во мне произошло. Мне показалось, что нас собираются вывести за ворота и бросить на произвол судьбы. И книжечка диплома являлась маленьким фиговым листком, чтобы им мы могли прикрыть свою наготу.

Прошу понять меня правильно. Не фиго'вым, а фи'говым. Это дерево такое в Греции.

Мне стало страшно. До сих пор нас вели из класса в класс, с курса на курс, и создалось впечатление, что вся жизнь разграфлена на классы до самой пенсии, и остается только в нужный момент сдать экзамен, посидеть пару ночей – и привет! Ты уже на следующей ступеньке.

Профессор в течение двадцати минут разрушил это представление.

Он сказал, что кончилось наше безмятежное счастье. Теперь оно будет трудным, мятежным и беспокойным. Если вообще будет, в чем профессор был как-то не очень уверен.

Кончилось тем, что он предложил нам выбрать темы дипломных работ, а заодно и руководителей. Каждый доцент, аспирант или ассистент выходил к доске, писал свою фамилию, а рядом тему. Если он находил нужным, он пояснял, что это за тема.

Первым вышел к доске Михаил Михайлович, доцент, который нам читал квантовую электронику. Он, как всегда, был в кожаном пиджаке и с усиками, которые он отпустил летом. Ходили слухи, что он невероятно талантлив, поэтому позволяет себе такие молодежные штучки. Он написал на доске десять слов, из которых понятными мне были только три: «измерение», «параметров» и «концентрация».

– Ну, это просто... – сказал он и написал еще одно название: «Теплообмен в слоистых структурах».

– А вот здесь нужна голова, – сказал он.

Голова в нашей группе была одна. Она принадлежала Славке Крылову, и все об этом прекрасно знали. Поэтому мы повернули головы, которые на самом деле таковыми не являлись, к голове Славки.

– Спасай, – прошептал Сметанин. – Мих-Миху нужна голова.

Славка почесал эту голову и безнадежно махнул рукой. Мы облегченно вздохнули.

Было только маленькое опасение, что кому-нибудь потребуется еще одна голова, которой группа не располагала. Нет, конечно, все чего-то там соображали, но настоящая светлая голова была только у Крылова. И он один это отрицал, проявляя повышенную скромность.

Постепенно доска заполнилась названиями и фамилиями. Началось что-то вроде небольшого торга. Девочки уже менялись темами и руководителями. Охотнее всего они пошли бы к Мих-Миху в силу его элегантности, но Мих-Мих презирал умственные способности женщин, о чем неоднократно заявлял на лекциях.

Я всматривался в лица руководителей, пытаюсь найти то единственное, которое не подведет. Все лица были достаточно симпатичны. Все темы были достаточно непонятны. Я решил пустить дело на самотек.

И вдруг профессор Юрий Тимофеевич, который все еще дремал на своем возвышении, проснулся, поискал кого-то глазами и остановил взгляд на мне.

– Верлухин! Подойдите-ка сюда... Я чуть было не забыл.

Я подошел к профессору, испытывая легкое недоумение. Во-первых, было лестно и тревожно, что профессор помнит мою фамилию. Во-вторых, было непонятно, зачем я ему понадобился. Группа замерла в предвкушении.

– Не хотите ли писать дипломную работу по моей теме? – спросил профессор.

Тишина стала жуткой. Что тут ответить? Вообще, имеется ли в подобной ситуации хоть какой-нибудь выбор? Неужели профессор полагал, что я могу отказаться?

– Хочу, – пролепетал я, испытывая тягостное желание припасть к руке профессора.

– Ну вот и прекрасно, – сказал Юрий Тимофеевич, снова погружаясь в дремоту.

– А... Какая... Тема? – выдавил я совершенно бестактно.

– Что? – встрепенулся профессор. Он недовольно посмотрел на меня, поерзал на возвышении и сказал:

– Тема... Ну тема как тема!... Не помню, какая тема! – рассердился он. – Приходите завтра, поговорим.

Я мгновенно растворился в группе, съезжился, спрятался и затих. Мысли стучали во мне, как колесики в будильнике. Я не знал, как расценивать только что случившееся со мной. Требовалось мыслить твердо и логично. И я стал мыслить.

Почему именно я? Я не отличник, не именной стипендиат, не обладаю оригинальным умом, и получил у профессора на экзамене устойчивую «четверку», заработанную усидчивостью и терпением. Таким образом, творческие причины отпадали.

Мои родители не работают в торговле и сфере обслуживания. Они не занимаются распределением жилплощади, не оформляют туристические путевки за границу и не устанавливают телефоны. Отец у меня военный, а мать домохозяйка. Следовательно, профессора нельзя было обвинить и в корыстных интересах тоже.

Может быть, у него есть дочь, которой пора замуж? Но тогда я тоже не представляю интереса по причине всего вышеизложенного. Кроме того, я женат. Я женился после второго курса, у меня уже дочка. Правда, профессор может всего этого не знать.

Так что же, он меня за красивые глаза выбрал?

– Как пить дать, оставит в аспирантуре... Как пить дать! – убежденно прошептал Сметанин. – Везет же олухам!

– Сам ты олух! – сказал я.

Раздача слонов и материализация духов на этом закончилась. Все разошлись во главе с профессором, который даже на меня не посмотрел. Группа отчужденно молчала. Я почувствовал, что меня отгородили прочной стенкой. Я был приближен к начальству по непонятным причинам, меня возвысили и навсегда лишили доверия коллектива.

Я побрел домой, чтобы рассказать обо всем жене.

«В пять минут, в пять минут можно сделать очень много...» – пел я про себя старую бодрую песенку из кинофильма «Карнавальная ночь».

Грузинские фамилии

На следующий день я пришел на кафедру и справился, где будет мое рабочее место.

Зоя Давыдовна, секретарь кафедры, повела меня по коридору. Мы прошли мимо всех лабораторий и остановились у двери с номером 347. Дверь была серая, неопрятного вида.

– Юрий Тимофеевич обещал быть к двенадцати, – сказала Зоя Давыдовна и ушла.

Я вошел в комнату. Справа стояли два пустых стола, а слева, перегораживая комнату пополам, громоздилось что-то черное, непонятное, с множеством круглых ручек. Оно было похоже на мебельную стенку производства ГДР, на которую мои родители стояли в очереди. Вся передняя панель стенки была густо усеяна рядами ручек с указателями. Внизу была узкая горизонтальная панель с кучей проводов. Я подошел к стенке и покрутил одну из ручек. Указатель щелкнул, перепрыгивая с деления на деление.

– Не трожь! – сказала стенка человеческим голосом.

Я отскочил от стенки к столу и сделал вид, что раскладываю на нем бумаги.

– Выставь потенциометр на прежнее деление, – продолжала стенка ровным голосом.

Теперь я уже знал, что крутил ручку потенциометра. Но какую? Их было штук триста, и я не успел запомнить, какую я трогал. Я снова приблизился к стенке и начал шарить глазами по указателям.

– Ну, чего ты там? – лениво поинтересовалась стенка.

Я схватился за первую попавшуюся ручку и повернул ее против часовой стрелки. Снова раздался треск указателя.

– Ну ты, брат, даешь! – сказал тот же голос, потом за стенкой послышалось шевеление, и из-за нее вышел худой мужчина в черном свитере. Он был мрачен. Подойдя к стенке, он, почти не глядя, нашел сдвинутые мною ручки и восстановил первоначальное положение.

– Чегогуров, – сказал он, протягивая руку. – А это электроинтегратор, – представил он стенку. – Ты его больше не трогай.

– Петя... – сказал я. – Верлухин. Я буду здесь диплом писать.

– У кого? – спросил Чегогуров.

– У Юрия Тимофеевича.

Чегогуров оценивающе посмотрел на меня. Он рассмотрел мое лицо, волосы, пиджак, брюки и ботинки. Мне стало не по себе.

– Годидзе, – сказал он.

– Чего? – не понял я.

– Грузинская фамилия, – мрачно пояснил Чегогуров. – Годидзе.

– При чем тут грузинская фамилия?

– Скоро поймешь, – сказал он и стал разминать своими длинными пальцами папиросу.

Чегогурову было лет под сорок. Он был небрит и нестрижен. Под глазами фиолетовые мешки. Свитер висел на нем, как на распялке. Было видно, что Чегогуров холост, любит выпить и пофилософствовать.

Он дунул в папиросу и закурил. Потом, еще раз взглянув на меня, ушел за электроинтегратор.

Я выбрал себе стол, застелил его листом миллиметровки, который оторвал от рулона, и прикнутил. На стол я выложил из портфеля большую толстую тетрадь, стаканчик для карандашей, стирательную резинку, три разноцветных шариковых ручки, пачку белой бумаги и угольник. Все это я разложил в идеальном порядке. Я люблю аккуратность.

После этого я сел за стол и стал ждать. Была половина двенадцатого.

За интегратором что-то тихонько запищало, потом затюкало и зашипело. Чегогуров про-бормотал три слова. Первые два я не расслышал, а последнее было «мать».

Тут распахнулась дверь, и в комнату быстрым шагом вошел Мих-Мих, за которым почти бежал Славка Крылов. Мих-Мих поздоровался со мной, окинул беглым взглядом столы и воскликнул:

– Ага! Так я и предполагал. Стол еще не занят... Располагайтесь! – приказал он Славке.

Славка молча взял с моего стола лист бумаги, подошел к своему столу, написал на листе «Занято» и положил лист на стол.

– Расположился, – сказал он.

– Вот и прекрасно, – сказал Мих-Мих. – Женя, ты не возражаешь? – крикнул он в сторону интегратора.

Чемогуров снова появился, посмотрел на Славку и пожал плечами.

– Что мне, жалко? – сказал он. – А ты, Мишка, большая скотина, – продолжал он, обращаясь к Мих-Миху.

Наш доцент сразу подобрался. Он кинул взгляд на нас, и глаза его стали непроницаемыми. Мы со Славкой сделали вид, что мы глухие от рождения.

– Ты же мне обещал заказать вэтэ семнадцатые. Я без них тут кувыркаюсь, – сказал Чемогуров.

– Ты не горячись, – сказал доцент и, обняв Чемогурова за плечи, увел его за интегратор.

– А я не горячусь, – сказал Чемогуров. – Но ты свинья.

Мих-Мих что-то ему шептал, сначала сердитым голосом, а потом умоляющим.

– А иди ты! – проворчал Чемогуров.

Мих-Мих показался из-за стенки с наигранно-бодрой улыбкой на лице. Они с Крыловым уселись за его стол и принялись обсуждать тему диплома. При этом они то и дело хватали чистые листы из моей пачки и писали на них какие-то формулы. Мне стало жалко своей бумаги, потому что многие листы они тут же комкали и кидали в корзину. Это было обидно.

Постепенно они увлеклись и стали кричать друг на друга, пользуясь разными терминами.

– Дэ фи по дэ икс равно нулю! – кричал Мих-Мих.

– Пускай! – кричал Крылов. – А частное решение? Поток идет сюда.

– Сомневаюсь. Надо проверить.

– Да это же и так видно! – кричал Крылов.

– Вам видно, а мне не видно... Стоп! – воскликнул Мих-Мих. – Мне пора на лекцию. К следующему разу прочитайте вот это.

И он написал на листке список литературы. Потом доцент поправил галстук и ушел. Славка еще немного побегал по комнате, переваривая мысли, сел к подоконнику и застыл, уставившись на улицу.

– Нужно делать железо, – внятно произнес Чемогуров за стенкой.

Славка встрепенулся, засунул листок с литературой в карман и убежал в библиотеку. На его столе остался ворох исписанной им и доцентом бумаги. Я вздохнул, сложил листки в стопку и придвинул их на край стола.

Потом я на цыпочках подкрался к интегратору и заглянул за него. Там был закуток, заставленный приборами от пола до потолка, опутанный проводами и погруженный в синеватый канифольный дым. Чемогуров настраивал какую-то схему. На экране осциллографа стоял зеленый прямоугольный импульс. Чемогуров недовольно смотрел на импульс и дотрагивался щупом до ножки транзистора, отчего импульс подпрыгивал.

Стена над столом была облеплена цветными проспектами с изображением цифровых вольтметров, счетных машин, лазеров и прочих штук. Проспекты были наклеены любовно, точно зарубежные красавицы.

– Вот зараза! – сказал Чемогуров и погрузил жало паяльника в канифоль. Брызнула струйка дыма, канифоль зашипела, и Чемогуров прикоснулся паяльником к ножке транзистора. Импульс на экране провалился куда-то, потом всплыл в увеличенном виде.

– Ага! – сказал Чегогуров и откинулся на спинку стула. Тут он заметил меня. – А-а... Ты еще здесь? – протянул он. – Тоже теоретик? – спросил Чегогуров сурово.

– Почему тоже? Почему теоретик? – слегка обиделся я.

– Ну, этот парнишка у Майкла будет теорией заниматься. Верно?

Я сообразил, что Майкл – это Михаил Михайлович. На всякий случай я пожал плечами.

– А ты будешь теоретизировать у шефа, – объяснил Чегогуров.

– Я еще темы не знаю, – сказал я.

– Зато я знаю, – отрезал Чегогуров и снова склонился над импульсом.

Я не успел расспросить его по тому, как в коридоре послышались голоса и щелкнул фиксатор двери. Я вышел из закутка и увидел церемонию, происходящую в дверях. В коридоре перед дверью интеллигентно толкались три человека: Юрий Тимофеевич и два неизвестных. Они пропускали друг друга вперед. Это было удивительно красиво. Жесты их были предупредительны и настойчивы. Юрий Тимофеевич загребал незнакомцев обеими руками, а те в свою очередь пытались пропихнуть его в дверь. Жесты сопровождались соответствующими восклицаниями. Я подумал, что если они таким образом входят в каждую дверь, то уже потеряли много сил и времени.

Наконец им удалось войти. Они протиснулись все сразу, облегченно вздохнули и рассмеялись.

– Разрешите вам представить нашего молодого сотрудника, ответственного исполнителя темы Петра Николаевича Верлухина, – сказал профессор, делая в мою сторону жест раскрытой ладонью.

За интегратором у Чегогурова что-то со стуком упало на пол. А у меня внутри что-то оборвалось, когда смысл сказанных профессором слов дошел до моего сознания.

– Харахадзе, – сказал первый незнакомец, протягивая руку.

– Меглишвили, – сказал второй, делая то же самое.

Тут я их разглядел. Несомненно, это были грузины. Тот, что назвал себя Харахадзе, был высок, сед и красив той красотой, которая сводит с ума некоторых женщин. Меглишвили был покороче и потолще. Глаза у него располагались так близко к переносице, что между ними оставалось расстояние миллиметров в пять. Оба грузина смотрели на меня чуть покровительственно.

– Прошу садиться, – сказал Юрий Тимофеевич, указывая той же ладонью на стулья.

Мы сели. Харахадзе закинул ногу на ногу и достал из кармана пачку американских сигарет. Он церемонно протянул пачку профессору, но тот сделал протестующий жест. Харахадзе перевел пачку ближе ко мне. Я вытянул сигарету и поблагодарил легким кивком. Щелкнула импортная зажигалка. Мы закурили.

– Как я вам уже говорил, Петр Николаевич, мы решили сделать вас ответственным исполнителем новой темы, – начал профессор.

Я важно кивнул, сообразив, что мое дело состоит именно в этом.

– Наши тбилисские товарищи предложили нам договор на научно-исследовательскую работу. Научное руководство темой я взял на себя, а вам предстоит провести непосредственно расчеты...

За стенкой опять что-то звякнуло, и послышались сдавленные звуки. Чегогуров веселился от души.

– Зураб Ираклиевич, я прошу вас вкратце рассказать о сути вашей работы... Так сказать, из первых рук, – с улыбкой сказал профессор.

Харахадзе затянулся, поискал, куда стряхнуть пепел, но не нашел. Я подсунул ему листок бумаги из своей пачки. Он задумчиво стряхнул пепел и сказал:

– Ми рэжим металл...

После этого он сделал глубокую паузу, во время которой я успел правильно понять фразу.

– Ми рэжим металл, – повторил он, внезапно возбуждаясь. – Вольфрам, титан, ванадий... Ми рэжим лазером...

По-видимому, ему очень нравилось слово «режем». У него даже глаза засверкали. Из дальнейших объяснений я понял, что они «рэжут» и сваривают тонкие листы вольфрама, титана и прочих металлов для электронных приборов, которые они конструируют и изготавливают на своем опытном производстве. Точность требуется феноменальная, потому что приборы маленькие. Их интересуют тепловые процессы, поскольку при сварке лазерным лучом иногда отваливаются припаянные лепестки, выводы и еще что-то. А иногда даже лопается стекло. Короче говоря, мне нужно произвести теоретический расчет тепловых режимов при сварке, чтобы они могли определить, на каком расстоянии от спаев можно «рэзать».

К пониманию проблемы мы пришли общими усилиями в течение сорока минут.

– Вы считаете, ми платим дэньги. Ми рэжим, ви защищаете диссертацию, – веско закончил Зураб Ираклиевич.

Я не стал объяснять, что еще не защитил диплома.

– Вы уж только, пожалуйста, вышлите нам техническое задание, – попросил Юрий Тимофеевич. – Договор мы сегодня подпишем, а техническое задание...

– О чем разговор, Юрий Тимофеевич! – воскликнул Харахадзе.

Меглишвили посмотрел на часы и что-то обеспокоенно сказал по-грузински. Харахадзе погрозил ему пальцем и засмеялся.

– Ну, а теперь, друзья мои, ми обедаем. Я правильно говорю, нет? – сказал Зураб Ираклиевич.

Профессор кинул на меня быстрый взгляд. Может быть, он боялся, что я соглашусь так же естественно, как взял американскую сигарету? Но я знал чувство меры. Не хватало мне начинать работу над дипломом с обеда в компании профессора!

– Столик уже заказан, – проговорил Харахадзе игривым шепотом.

– В «Астории», – добавил Меглишвили.

Я вспомнил, что я ел на завтрак. Я ел яйца всмятку и бутерброд с колбасой. Очень хорошая еда на завтрак. Потом я подумал, что сейчас помчусь в нашу студенческую столовую, выбью чек на половинку харчо, шашлык из свинины с рисом и компот. Получится прекрасный грузинский обед на восемьдесят семь копеек. Это будет праздник.

Все это пронеслось у меня в сознании, пока профессор, опасливо косясь на меня, разводил руками и говорил, что у него дела и прочее.

Я тоже развел руками и сказал, что у меня в тринадцать пятнадцать доклад в обществе «Знание» на тему «Перспективы развития лазерной техники». Грузины посмотрели на меня с уважением, а Юрий Тимофеевич с благодарностью.

Таким образом я отпал. Мы долго и душевно прощались, причем Зураб Ираклиевич намекал на мой приезд в Тбилиси, где мы, мол, возьмем свое.

– Если начальство отпустит... – пошутил я, глядя на профессора.

– Непременно, непременно поедете, – сказал Юрий Тимофеевич. Это была компенсация за мой отказ от обеда.

– Где взять такси? – озабоченно спросил Меглишвили. Его явно беспокоил остывающий обед в «Астории».

Они вышли уже не так церемонно, почти по-дружески, и гул их голосов затих в коридоре.

– Интересно, могу ли я, в самом деле, съездить в Тбилиси? – подумал я вслух. – Было бы неплохо...

– Могулия! – крикнул Чемогуров за интегратором. – Грузинская фамилия... Теоретиков надо душить, – задумчиво сказал он.

Дверь с шифром

Прошла неделя, и постепенно все встало на место. Мы с Крыловым каждый день сидели за своими столами, изучая литературу. То и дело мы затевали долгие разговоры об уравнении теплопроводности и методах его решения. Во время этих разговоров из-за стенки электроинтегратора доносились комментарии Чемогурова. К двум его поговоркам, с которыми я был уже знаком, а именно:

1. Нужно делать железо;
2. Теоретиков надо душить,
прибавилось еще несколько. Например:
3. Аплодируйте ушами!
4. Эйнштейн на скрипочке играет;
5. Одним теплом сыт не будешь.

И тому подобная чушь.

Последнюю поговорку он придумал специально для нас, поскольку в наших разговорах слово «тепло» встречалось особенно часто. Тепло идет туда, тепло идет сюда... Но мы не обижались на Чемогурова. Мы уже знали его историю.

Евгений Васильевич Чемогуров был легендарной личностью. О нем рассказала нам Зоя Давыдовна, секретарь, когда мы заполняли листки с названием темы дипломной работы. Кажется, это называлось заданием на дипломное проектирование. Вообще-то, эти задания должен заполнять руководитель, но мой профессор и Мих-Мих безоговорочно доверились нам с первого дня. Поэтому мы сами написали себе задания. Название темы Юрий Тимофеевич продиктовал мне по телефону. Оно звучало так: «Исследование тепловых процессов при обработке металлов лазерным лучом».

Так вот, о Чемогуrove. Он учился в одной группе с Мих-Михом, и они там были корифеями. После диплома их сразу оставили в аспирантуре. Мих-Мих пошел нормальным путем, а Чемогуров окольным. Он зарылся в схемы, паял, гнул железо, собирал приборы, испытывал, ломал, переделывал и в результате ничего не написал.

Мих-Мих защитил кандидатскую, стал доцентом и сейчас уже дописывал докторскую, а Чемогуров остался старшим инженером. За это время он придумал кучу схем, каждую из которых можно было оформить в виде кандидатской диссертации, если навести на нее научный блеск. То есть, не просто выдать работающую схему, а объяснить, почему она работает, обложить гарниром из формул и заключить описание в солидный переплет.

Чемогуров ничего этого принципиально не делал.

В итоге создалась странная ситуация. Его приборы работали в других организациях. За Чемогуровым охотились доктора наук, руководители лабораторий, начальники отделов крупных КБ, переманивая его к себе. А он сидел в закутке за электроинтегратором и дымил канифолью. Он оставался свободным художником.

– Там у них план... – говорил Чемогуров. – Нужно делать то, что нужно. А мне хочется делать то, что хочется.

Я долго размышлял над жизненной позицией Чемогурова. Почему-то она не давала мне покоя. Если упростить его высказывание и придать ему вид формулы, то получится такая схема:

ОНИ: Нужно делать, что нужно.

ЧЕМОГУРОВ: Хочется делать, что хочется.

Поменяв местами члены, можно получить следующее:

ОНИ: Нужно делать, что хочется.

ЧЕМОГУРОВ: Хочется делать, что нужно.

То есть, если бы ИМ нужно было делать то, что хочется Чемогурову, или Чемогуров хотел бы делать то, что ИМ нужно, такая ситуация всех бы устроила. Но этого ни разу не случилось.

Впрочем, Чемогуров охотно брал отдельные заказы, когда они ему нравились, и выполнял работы по хоздоговору. Он изобретал схему, делал опытный образец и сдавал заказчику. Заказчик запускал схему в серию, Чемогуров получал премию по хоздоговору. Видимо, это его устраивало.

Как я успел заметить, Чемогурова ценили, но относились к нему осторожно. Профессор Юрий Тимофеевич его побаивался.

Мих-Мих вел себя с Чемогуровым вроде бы как со старым товарищем, но было видно, что ему это нелегко дается. Кажется, он испытывал чувство некоторой вины за то, что Чемогуров до сих пор живет незащищенным.

Один Чемогуров плевал на все взаимоотношения и субординацию.

Может быть, именно из-за Чемогурова нашу комнату редко посещали. Профессора я видел только один раз с тех пор, как мы осваивали грузинские фамилии. Мих-Мих забегал дважды и убегал прежде, чем Крылов успевал открыть рот. Поневоле мы общались только с Чемогуровым.

Мне уже не терпелось взяться за конкретные расчеты. Сдерживало отсутствие технического задания. Я пожаловался Чемогурову.

Он как всегда нехотя появился из-за интегратора, посмотрел на меня с тоской и медленно начал:

– Теоретиков...

– Знаю, знаю! – отмахнулся я. – Надо душить. Это уже было.

– Зачем тебе это задание?

– Ну как же! Параметры конструкций, материалы, режимы обработки, скорости движения луча... Что же, придумывать, что ли?

– Вот именно, – кивнул Чемогуров.

– В чем же тогда смысл работы?

– Весь смысл твоей работы, – внушительно произнес Чемогуров, – в том, что ты получишь синенькие корочки.

– Они же договор заключили! На двадцать тысяч! – закричал я.

– Аплодируйте ушами! – сказал Чемогуров и скрылся за стенкой.

Я подождал еще неделю, изучая монографию Карслоу и Егера, а потом поймал Юрия Тимофеевича в перерыве заседания Ученого Совета. Профессор непонимающе посмотрел на меня. Видимо, он не рассчитывал на скорую встречу со своим дипломантом.

Я коротко изложил ему просьбу насчет технического задания. Юрий Тимофеевич соорил кислую мину и махнул рукой.

– Может быть, Бог с ним? – полувопросительно сказал он.

– Может быть, он и с ними, – довольно дерзко сказал я. – Но мне хотелось бы иметь техническое задание. Я не знаю, что мне считать.

– Ладно, я позвоню Зурабу Ираклиевичу... Только учтите, Петя, что вы должны полагаться больше на себя.

«Куда еще больше?» – подумал я.

Когда я рассказывал Славке о разговоре с профессором, невидимый Чемогуров подал реплику:

– Петя, ты достукаешься со своим заданием. Попомни мои слова.

Его слова я попомнил через две недели. Все это время я помогал Славке Крылову моделировать тепловой поток в слоистых структурах. Мы использовали электроинтегратор. С разрешения Чемогурова. Интегратор оказался ценным прибором. Мы в упоении щелкали руч-

ками потенциометров и снимали кривые. У меня внутри немного скребли кошки, потому что мой диплом пока был на нуле.

И вот через две недели, придя на кафедру, я увидел, что два мужика в комбинезонах обшивают дверь нашей комнаты листовым железом. Грохот стоял на весь коридор. Они поосторожились и молча пропустили меня в комнату. Я уселся за стол и стал смотреть, как они работают.

Через несколько минут пришел Чемогуров, хмыкнул, снял плащ и тут же ушел. Уходя он сказал:

– Когда кончится эта самодеятельность, позвони мне. Я буду в лаборатории измерений.

Самодеятельностью занимались три дня. Чемогуров и Крылов отсутствовали. После того, как обшили дверь, стали устанавливать железные решетки на окнах. Я поинтересовался, зачем решетки на четвертом этаже. Я сказал, что мы пока не собираемся прыгать на улицу. Мужики не оценили моего юмора.

– Думаешь, нам больше всех надо? – сказал один.

Они вмазали решетки в оконный проем, наклеили цемент и ушли. Железная дверь выглядела внушительно. Наружная сторона ее была украшена небольшой вертикальной планочкой с кнопками. Рядом с кнопками располагались цифры от 0 до 9. С внутренней стороны двери приделали замок.

Я стал подметать пол. За этим занятием меня застал Чемогуров.

– Поздравляю! – сказал он. – Ты своего добился.

– Почему? – не понял я.

– Ты что, ничего не знаешь? – спросил Чемогуров.

– Не знаю, – сказал я, предчувствуя что-то нехорошее.

– Сходи к Зое. Она тебя обрадует.

Я побежал к Зое Давыдовне. Она очень просто и буднично сообщила мне, что грузины прислали техническое задание. Поскольку институт у них закрытый, техническое задание пришло в Первый отдел с грифом «для служебного пользования». Первый отдел тут же распорядился обить железом дверь и поставить решетки на окна, чтобы мне было удобнее пользоваться техническим заданием.

Я даже присвистнул.

– Можете идти в Первый отдел и брать задание, – сказала Зоя Давыдовна.

Я пошел туда и сказал, что у нас теперь все в порядке в смысле дверей. Расписался в какой-то книге, взял запечатанный конверт с грифом «для служебного пользования» и пошел обратно.

Как бы там ни было, в руках у меня было техническое задание.

Наша новая железная дверь оказалась запертой. Я постучал.

– Набери трехзначный шифр. Дверь откроется, – сообщил мне изнутри глухой голос Чемогунова.

– Какой шифр?! – крикнул я.

– Пошевели мозгами, какой! – крикнул он.

Это была месть. Я прикинул количество сочетаний из десяти элементов по три. Получилось громадное число. Я забарабанил кулаками в дверь. Чемогуров дьявольски захохотал.

Тут меня осенило. Как-то сразу пришло решение. Если такой человек, как Чемогуров, изобретает трехзначный шифр, что ему первым делом может придти в голову? Конечно, стоимость поллитровки!

И я смело набрал 3-62. Дверь мгновенно распахнулась.

Чемогуров выскочил из-за интегратора страшно довольный. Он радовался моей удаче. Он даже хлопнул меня по плечу.

– Молоток! Башка варит!

Я прошел к своему столу с таким видом, будто всю жизнь разгадывал тайные шифры. Славка Крылов сидел отвернувшись и давился от смеха. Ничего, это ему дорого обойдется!

Я важно распечатывал конверт и вынул оттуда несколько листков. Чегогуров сзади жадно следил за моими действиями. Он ждал развязки. Видимо, ему было что-то известно. А может, он догадывался.

– Между прочим, в этой комнате я делал схему, которая сейчас летает на спутнике, – сказал он. – И ничего. Никто меня в железо не заковывал...

Он явно издевался. Не обращая на него никакого внимания, я развернул листки. На одном из них было письмо Зураба Ираклиевича Юрию Тимофеевичу и мне. Письмо стоит того, чтобы привести его целиком.

«Уважаемые Юрий Тимофеевич и Петр Николаевич! Пользуясь случаем, шлю вам горячий привет из нашего солнечного Тбилиси. Мы с товарищами ожидаем успешных результатов нашей совместной плодотворной работы. Нам бы хотелось, чтобы прилагаемое техническое задание ни в коей мере не сковывало вашей инициативы. Всегда будем рады принять вас в нашем городе для выяснения любых вопросов и деталей.

*С дружеским пламенным приветом,
Зураб Харахадзе».*

Письмо было на бланке института.

Вторым листком оказался сложенный вчетверо план города Тбилиси на русском и грузинском языках. Маршруты автобусов, названия улиц и достопримечательности.

На третьем листке была нарисована электронная лампа. К внутренней ее детали была протянута стрелочка, рядом с которой стояла надпись: «режем здесь». Никаких размеров и разъяснений.

Я повертел листок в руках, соображая. В смысле полной свободы действий и проявления инициативы это было идеальное техническое задание. Я покосился на Чегогурова, ожидая его реакции. Интересно, какую поговорку он сейчас произнесет? Я ожидал услышать: «Эйнштейн на скрипочке играет». Мне казалось, что она наиболее подходит к случаю.

– С пламенным приветом! – сказал Чегогуров.

– Ну что? Все в порядке? – спросил Славка, отрываясь от книги.

– Почти, – сказал я.

После этого я взял авторучку и каллиграфическим почерком написал письмо Зурабу Ираклиевичу. Письмо было полно ответного дружеского оптимизма. Я выражал полнейшую уверенность в успехе нашей плодотворной работы. Я сообщал, что никто и ничто не в силах остановить нашей безумной инициативы. Я слал приветы тбилиским достопримечательностям.

Игра началась, и нужно было соблюдать ее правила.

– За это надо выпить, – предложил Чегогуров.

В конце дня я сбегал за двумя бутылками «Гурджаани», и мы выпили их, сидя за интегратором. Чегогуров был в прекрасном настроении. Уходя, он сменил шифр замка на 2-37. Столько стоила бутылка «Гурджаани».

Заткни фонтан!

Я уже собирался впасть в тоску и идти к профессору с жалобами на заказчика, но Чемогуров посоветовал мне этого не делать. Он сказал, что заказчики развязали нам руки, и я могу рассчитывать что угодно. Он набросал мне несколько эскизов характерных конструкций и сказал, чтобы я занимался ими. Попутно он порекомендовал использовать метод интегральных уравнений. Оказалось, что Чемогуров может не только паять.

Я засел за интегральные уравнения и приближенные методы. К следующему приходу профессора у меня была готова расчетная схема по первой конструкции. Конструкция представляла собой тонкую пластинку металла, к которой под углом была припаяна другая пластинка. Путем хитрых расчетов я определял, где можно резать одну пластинку, чтобы вторая не отвалилась.

Юрий Тимофеевич выслушал меня с огромным удовольствием. Так мне показалось. Я тоже был рад, что оправдываю его надежды, хотя до сих пор не знал, почему он возложил их именно на меня.

– А что, получится неплохая работа... – задумчиво сказал он. – Практическое внедрение обеспечено... Кстати, где они используют эту конструкцию?

– В лампах бегущей волны, – сказал из закутка Чемогуров, прежде чем я успел во всем сознаться.

Профессор удивленно поднял брови и покосился на интегратор.

– Я показывал техническое задание Евгению Васильевичу, – промямлил я.

– Ах, вот как!... Ну что ж, он у нас главный специалист по электронике... Евгений Васильевич, вы не возражаете, если мы впишем вас консультантом по теме Петра Николаевича? – обратился он в пространство.

– Ради Бога, – сказал Чемогуров.

Тут я понял, что это у меня с профессором предпоследний разговор. Последний будет, когда я ему принесу диплом на подпись. К сожалению, я ошибся, как это потом будет видно.

Юрий Тимофеевич порекомендовал мне провести численные расчеты на ЭВМ и ушел, дружески пожав руку.

– А если потом выяснится, что я липу считал? – подумал я вслух для Чемогурова.

– Не понимают люди своего счастья... – ответил он.

– Кстати, у профессора есть дочка? – спросил я.

– Хорошенькое «кстати», – проворчал Чемогуров. – Кажется, есть.

– Сколько ей лет?

– Что-то около двадцати.

Я подошел к окну и стал рассматривать свое бледное отражение в стекле. Я пытался отгадать, что в моей внешности могло понравиться профессору. Нет, вообще-то я ничего себе. Без особенных уродств... Глаза вдумчивые, брови просто красивые. Рот, правда, никуда не годится. А главное, я женат...

– А зачем тебе его дочка? – лениво поинтересовался Чемогуров.

Я не успел ответить, потому что щелкнул замок с шифром, и в дверях показался Крылов. С Крыловым в последние дни стало твориться что-то странное. Во-первых, он выдал Мих-Миху какую-то идею, от которой доцент пришел не то в ужас, не то в восторг. Эту идею Славка предварительно опробовал на мне. Я ничего не понял. Мих-Мих, видимо, понял больше, и стал приходить каждый день к нам в комнату. Но тут Крылов повел себя странно. Это и было во-вторых.

Он стал пропадать. Без всяких объяснений не являлся на работу. Уходил вдруг среди дня. Появлялся вечером и сидел один в комнате допоздна. Утром я находил на его столе чайник

Чемогурова и куски сахара. Один раз он ушел посреди разговора с Мих-Михом. Посмотрел вдруг на часы, застенчиво улыбнулся и ушел. Мих-Мих даже обидеться не успел. Если бы не гениальная идея, с которой возился Крылов, Мих-Мих его бы приструнил. Но сейчас Славке все произошло.

– Ты где был? – спросил я Славку.

Он только загадочно улыбнулся.

– Тебе звонил Мих-Мих. Спрашивал, когда мы сможешь его принять.

Теперь Крылов улыбнулся смущенно. Но все равно ничего не сказал, сел за стол и мечтательно уставился в стенку.

– Ты что, совсем офонарел? – спросил я. – Он ждет звонка в первом корпусе. На кафедре вычислительной математики.

– Сейчас позвоню, – сказал Крылов и попытался сделать озабоченное лицо. У него ничего не вышло.

Он сладко потянулся, рассеянно переложил листки на столе, раскопал телефон кафедры вычислительной математики и промурлыкал:

– Сорок два, восемь шесть, восемь два...

После этого Крылов ушел звонить Мих-Миху.

– Одним теплом сыт не будешь, – сказал Чемогуров.

– Вы думаете, он влюбился? – спросил я, догадавшись.

– Ясно и ежу, – сказал Чемогуров.

Он вышел из-за интегратора и стал ходить по комнате. Время от времени он поглядывал на пустой Славкин стул, на листочки, разбросанные по столу, на стакан Славки с присохшими ко дну чайниками. Было видно, что Чемогуров думает о чем-то своем.

– Когда-то давно в этой комнате, за этим столом, произошло обыкновенное чаепитие, – начал Чемогуров. – Лет пятнадцать назад. Результатом его явилось то, что один молодой аспирант не защитил диссертацию. Не говоря уже о других важных для него вещах... Трое молодых людей попили чайку с сахаром, потолковали о жизни... Интеллигентно, не впрямую. И один из них понял, что он лишний. Он допил свой чаек и ушел. А те двое остались...

Я слушал с большим вниманием, потому что Чемогуров еще так со мной не говорил. Обычно он изображал циника. Сама история никакого интереса не представляла. Мало ли кто с кем не пил чаю, молока или там шампанского. И не вел разных разговоров... Но чувствовалось, что Чемогуров слишком хорошо все помнит.

В коридоре послышался стук каблучков. Я уже научился его узнавать. Так энергично и целеустремленно ходил только Мих-Мих.

– Женя, привет! – сказал он, вбегая в комнату с Крыловым.

– Здорово, – сказал Чемогуров, протягивая ему руку.

Доцент пожал руку и мне, спросил, как мои дела. Я сказал, что нормально. Мих-Мих весело взглянул на Чемогурова и сказал:

– Женька, а ведь вроде бы совсем недавно мы здесь просиживали штаны? А?

– Я только что об этом рассказывал, – тихо сказал Чемогуров, надел плащ и вышел.

– Мы с ним вместе писали здесь дипломы, – сказал ему вслед Мих-Мих, – и кандидатские тоже... – начал он, но осекся, видимо, вспомнив, что писали вместе, а написал один. – Он замечательный человек, – закончил Мих-Мих.

Тут какая-то тень пробежала по его лицу. Мелькнуло какое-то воспоминание, но Мих-Мих отогнал его, и они с Крыловым опять устроили диспут часа на два.

Чемогуров до конца рабочего дня больше не появлялся. На следующее утро он был мрачнее обычного, и мешки под глазами выступали резче.

Впрочем, у меня не было времени следить за настроениями Чемогурова. С самого утра к нам завалился Борька Сметанин. Крылов опять отсутствовал.

Сметанин зашел осторожно. Вид у него был такой, будто он принохивается. Он о чем-то потрепался, рассказал, как он пишет диплом, но я видел, что Сметанину что-то надо. Вместо того, чтобы прямо перейти к делу, он начал рассказывать о своей руководительнице. Сметанин пошел на диплом к молодой аспирантке, видимо, имея в виду свои неотразимые внешние данные. Он у нас был первым человеком в группе по этой части. Сметанин жил в общежитии, но родители хорошо снабжали его с юга. И деньгами, и продуктами, и тряпками. Сметанин одевался лучше всех в группе, что никак не влияло на умственные способности. Кое-как он дотянул до диплома, и теперь из него вынуждены были делать инженера.

Надо сказать, что аспирантка здорово его запрягла. Сметанин называл ее старой научной девой и всячески ругался, потому что она не обращала внимания на его шмотки, а требовала результатов измерений. Сметанин измерял параметры полупроводниковых материалов.

– Ну ладно. Чего тебе нужно? – спросил я, когда Сметанин меня утомил.

– Петя, вы со Славкой поступаете не по-товарищески, – сказал он. – Вы сидите под боком у начальства. Ты с профессором на дружеской ноге...

– Скажешь тоже! – возразил я.

– Закройся! Я все знаю. Ты затыкаешь своим телом грузинский договор. Тебе профессор будет обязан по гроб жизни.

– Кто тебе сказал? – спросил я.

– Да все говорят. Моя селедка говорила... Ей проф предлагал этим заняться. Она отказалась.

Селедкой у него была теперь аспирантка. Когда он к ней подъезжал на распределении тем, она была рыбкой получше.

– Ну, и что дальше?

– На кафедру пришли заявки из министерства. Нужно узнать, какие есть места для иногородних. Вам-то со Славкой хорошо. Вас все равно в Ленинграде оставят... Так что давайте! Ты сейчас один можешь это сделать. Славке не до этого.

– Почему? – автоматически спросил я, раздумывая над поручением Сметанина.

Сметанин посмотрел на меня с удивлением. Потом он терпеливо объяснил, что у Крылова сейчас роман, о чем все, кроме меня, знают. У него роман с Викой Одинцовой из нашей группы. Может быть, они даже поженятся. По мнению Сметанина, я должен был чуть-чуть больше соображать, что к чему. Если они поженятся, то Одинцова, у которой средний бал оставляет желать лучшего, пойдет при распределении впереди как семейная. Это и волновало Сметанина.

«Господи, какие тонкости!» – подумал я.

– И вообще, Петя, ты совсем отошел от группы. Славка ладно, он выдающийся человек, у него все равно башка не тем забита. Но ты мог бы быть к нам поближе...

Ага, вот как он заговорил! Он заговорил от лица общественности. Я был жалким отщепенцем, пригревшимся под крылышком профессора, погрязшим в семейных делах и своим грузинском дипломе. Группа прислала мне своего представителя. Представитель уличил меня в индивидуализме.

Сметанин ушел, а у меня на душе стало совсем худо. А что, если наша Викочка, наша серенькая птичка, незаметная и тихая, окрутила Славку только из-за лучшего распределения? Вот к чему ведут разговоры с такими типами, как Сметанин. Начинаешь хуже относиться к людям.

Эта Вика никогда ничем не выделялась. Скромно училась, скромно сдавала, скромно пользовалась шпаргалками, скромно одевалась и скромно ждала своего часа. Я вдруг подумал, что ничего не могу о ней сказать. Мы проучились рядом пять лет, скоро расстанемся и вряд ли вспомним друг друга. Это тоже говорило о моем индивидуализме. И я стал бичевать себя с новой силой, вспоминая разные факты из жизни группы, когда я оказывался в стороне. Такие

вещи прощают талантливый, на них смотрят снизу вверх, как на Славку. Во мне же не было ничего такого. Сметанин правильно сказал. Я просто обязан был жить с ними заодно, волноваться, подсчитывать шансы при распределении и следить за романом Славки Крылова.

Мой индивидуализм был лишен законных оснований.

Когда пришел Славка, от меня осталась горстка пепла. Я сжег себя дотла.

– А что Вика? – спросил я его.

Славка очумело посмотрел на меня. Я понял, что до него не доходят звуки моего голоса. У него было лицо лунатика, которого внезапно разбудили, когда он прогуливался по карнизу.

– Чего-чего?... – спросил он.

– Как дела? Ты ей напишешь диплом?

– Петя, заткни фонтан! – угрожающе произнес из-за интегратора Чемогуров.

Славка вдруг затрясся от хохота, упал на стул и продолжал смеяться в течение десяти минут. Я засек по часам. Потом он погрозил мне кулаком.

– Не твое дело! – сказал он.

Кутырьма

Несколько дней я убил на дурацкое поручение Сметанина. Я стал подъезжать к Зое Давыдовне, которая сидела в «конторе», как мы ее называли, за пишущей машинкой. Зое Давыдовне было лет двадцать восемь. Она была маленькой, круглой и симпатичной. Пишущая машинка была марки «Оптима».

Сначала я заходил просто так. Потолковать о погоде. А потом напросился перепечатать три странички отчета, который я готовил заказчикам. Постановка задачи и метод решения.

Я печатал медленно, одним пальцем, а Зоя подшивала бумаги, регистрировала письма и заполняла какие-то бланки. Краем глаза я следил за бумагами.

Медленно, но неуклонно между нами завязывалась беседа.

– Скоро кончим уже... – вздохнул я.

– Да... – охотно вздохнула Зоя. – И не говорите! Каждый год студенты уходят. Не успеешь привыкнуть, а их уже нет.

Я вздохнул в квадрате, если можно так выразиться.

– И главное, неизвестно куда попадешь, – сказал я.

Зоя не отреагировала на мой намек.

– Если бы не семья, было бы все равно... – продолжал я.

– Петя, вы женаты? – изумилась Зоя.

– Уже четвертый год, – мрачно подтвердил я.

– И дети есть?

– Угу.

– Ну, тогда вам бояться нечего. Вы на распределении пойдете в первую очередь.

– Хотелось бы знать, куда.

– Да я сейчас не помню... – рассеянно сказала Зоя. – Места все хорошие.

– А можно посмотреть? – спросил я.

– Вообще-то, пока нельзя... – неуверенно сказала Зоя.

Ее неуверенность придала мне сил. Я почувствовал, что нужно сменить тему и подождать, пока плод сам упадет в руки.

– У вас всегда потрясающая прическа, – сказал я примитивно и нагло.

– Да? – сказала Зоя, заливаясь румянцем. Она несколько заволновалась, встала с места и подошла к зеркалу. Прическа, и в правду, была в порядке.

– Как вы этого добиваетесь? Скажите, я научу жену.

– У меня есть фен, – скромно сказала Зоя.

– Приятно, когда женщина так за собой следит, – сказал я, чувствуя непереносимый стыд.

Но странное дело – Зое все это нравилось!

– Скажете тоже, Петя... – возразила она смущенно.

– Все, я кончил. Спасибо! – твердо сказал я, вынимая листок из машинки. Это был гениальный ход с моей стороны. Я его не продумывал, он пришел по наитию. По лицу Зои я понял, что ей не хочется прерывать столь удачно начавшийся разговор.

– Так вас действительно интересуют места? – спросила она.

– Ну, не так, чтобы очень... – начал ломаться я.

– Можете посмотреть, – сказала она, доставая из шкафа папку с надписью «Распределение».

– Зоинька, вы добрая фея! – воскликнул я как можно более натурально. В глубине души я чувствовал себя Сметаниным.

Мы уселись рядышком и принялись изучать заявки. Я выписывал места распределения на листок. Зоя комментировала, если место было ей знакомо. Для ленинградцев я выписал

пару известных НИИ, штук семь почтовых ящиков, пяток заводов. На оборотной стороне листа я стал выписывать другие города. Новосибирск, Тула, Саратов, Рязань...

– Петя, вас же в другой город не пошлют. Ленинградцев мы распределяем в Ленинграде, – сказала Зоя.

– Мало ли что, – уклончиво сказал я. – Возможно, меня позовет романтика.

И я продолжал писать: Новгород, Углич, Кутырьма...

– Что это за Кутырьма? – спросил я.

– Понятия не имею. Кутырьма у нас впервые, – сказала Зоя. – Вот Новгород знаю. Там большое КБ акустических приборов.

На отдельном листке в папке «Распределение» был список нашей группы. Мы были расставлены по среднему баллу. Первым стоял Крылов со средним баллом 5,000. Это выглядело вызывающе. Я помещался где-то в первой трети. Мой балл был 4,587. Сметанин замыкал список. Против его фамилии значилось 3,075. Это был самый краткий и выразительный итог нашего пребывания в ВУЗе.

После этой акции мой авторитет в группе очень вырос. В течение нескольких дней вся группа побывала в нашей комнате. Приводил их Сметанин, который неустанно подчеркивал свою инициативу. Места распределения обсуждались тщательно, в особенности Кутырьма. Кутырьму никто не мог найти на карте. Сметанин полагал, и не без основания, что Кутырьма достанется ему.

– Меня может спасти только одна вещь... – сказал он.

– Какая? – спросила Вика. Разговор был при ней. Крылов тоже сидел в комнате, но делал вид, что распределение и Вика его не касаются.

– Женьтиба! – многозначительно сказал Сметанин.

Вика почему-то покраснела. А Сметанин достал записную книжку и долго листал ее, шевеля губами. Потом он захлопнул книжку, решительно запахнулся в свой длинный плащ, намотал шарф на горло и ушел. Вика тоже исчезла. Только она ушла, смылся Крылов. Чемогуров вышел ко мне. Он был чем-то недоволен.

– Ты занимаешься ерундой, – сказал он. – Вот возьми параметры материалов и размеры конструкций. Нужно это сосчитать.

Он протянул мне листок бумаги. Откуда он брал эти цифры, ума не приложу. Я покорно взял листок и принялся писать программу для машины. Машина у нас была на кафедре вычислительной математики. Называлась она «М-222». Я уже договорился, чтобы мне давали машинное время.

Однако история с Кутырьмой на этом не закончилась. Не успел я первый раз выйти на машину, как снова явился Сметанин.

– Петя, ты мне нужен сегодня вечером, – сказал он. – Приходи в общежитие к семи.

– Зачем? – спросил я.

– Ну, я тебя прошу, старик! Очень нужно! – сказал Сметанин, но объяснять ничего не стал.

Я отличаюсь тем, что не умею отказываться. Если меня настойчиво просят, я соглашаюсь, чтобы сэкономить нервы. На самом деле, нервы я этим не экономлю, потому что потом ругаю себя за то, что согласился.

Вечером я пришел в общежитие к Сметанину. Он был один в своей комнате. На Сметанине была эффектная рубашка с немыслимым воротничком и новенькие синие джинсы. На джинсах было килограмма полтора заклепок. Сметанин стоял у окна и увлеченно тер себе задницу наждачной бумагой.

– Ну как? – спросил он, показывая результаты работы.

– А что должно быть? Дыра? – спросил я.

– Потертость, – сказал Сметанин. – Купил совсем новые джинсы, а нужны потертые. В потертых самый хип. Коленки я уже сделал.

Я посмотрел на его коленки. Они были такими потертыми, будто Сметанин совершал на них паломничество к святым местам. Он довел до такого же состояния задницу и стал готов к мероприятию.

– Пошли, – скомандовал он.

Мы вышли на улицу и куда-то поехали. Троллейбус привез нас на Невский. По Невскому шли нарядные прохожие. Сметанин привел меня к стеклянным дверям, в которые втекала тонкая струйка очереди. Это был коктейль-бар. Очередь состояла из молодых людей, одетых как Сметанин и еще лучше. Сметанин что-то сказал швейцару, и нас пропустили.

В коктейль-баре было темно и накурено. За стойкой возвышалась фигура бармена в белой рубашке и при бабочке. Сметанин помахал ему рукой и пошел в угол, где за столиком сидела девушка.

– Знакомьтесь, – сказал он. – Это Мила.

Мила встала и протянула мне руку. В темноте я разглядел только глаза, которые занимали почти все лицо. Собственно, ничего кроме глаз и не было. Мила напоминала соломинку, из которой она тянула коктейль. На ней был бархатный комбинезончик с вырезом на животе. Вырез имел форму сердечка. В центре выреза размещался аккуратный маленький пупок.

– Петя, – сказал я, стараясь не смотреть на пупок.

Сметанин принес еще три коктейля, и мы стали ловить кайф. Так выразился Сметанин.

Я еще никогда не ловил кайф. Я даже не знаю, как это толком делается. Дело в том, что я женился после второго курса, и мне просто некогда было ловить кайф. У нас родилась дочка, мы с женой ее прогуливали, купали, по очереди не спали ночью, когда она болела, и тому подобное. Кроме того, я подрабатывал, чтобы у семьи были деньги. Я чертил листы первокурсникам, которым не давалось черчение. Моя аккуратность приносила меня десятку за каждый лист большого формата. Так что с кайфом у меня обстояло туго.

Я судорожно ловил кайф, соображая, зачем Сметанин привел меня сюда. Неужели он не мог посидеть с девушкой наедине?

Постепенно выяснилось, что Мила учится в Университете. Она социальный психолог. Специальность у нее была такая же модная, как комбинезончик.

– Я испытываю интерес к асоциальным личностям, – сказала Мила. – Здесь я их изучаю.

– Борька, тогда ты зря меня привел, – сказал я. – Я плохой экспонат. Я еще не дорос до асоциальной личности.

Заревела музыка, и на стенке бара зажглись разноцветные огни, которые дрожали и переливались в такт музыке. Сметанин и Мила поднялись, обхватили друг друга руками и застыли рядом со столиком. Они простояли минуты три, пока играла музыка, не шевелясь. Многие юноши и девушки поблизости делали то же самое.

Я понял, что безнадежно отстал и устарел морально.

Они сели, и разговор продолжился. Мила говорила о Фрейте, экзистенциализме и каких-то мотивациях. Еще она говорила слово «ремиссия», которое я постарался запомнить. Каким образом в разговоре участвовал Сметанин, для меня осталось загадкой. Но он тоже что-то произносил близкое к социальной психологии. В самый разгар экзистенциализма Милу пригласил танцевать молодой человек в звериной шкуре, которая свисала с него живописными лохмотьями. На этот раз танец был другим. Они вышли на свободное место перед стойкой и стали прыгать. Молодой человек в шкуре потрясал кулаками, а лохмотья яростно развивались.

– Ну как? – спросил Сметанин.

– Недурно, – сказал я.

– Значит, так. Я на ней женюсь. Ты будешь свидетелем...

– Почему я?

– Тебе что, трудно? Так надо... Это будет фиктивный брак, – прошептал Сметанин таинственно.

Я совсем обалдел от коктейля и непонимающе уставился на Сметанина.

– Фиктивный брак, – повторил он. – Это значит, что мы распишемся, я получу ленинградскую прописку, меня распределят здесь, а потом мы разведемся. Она согласна.

– Мне не хочется, – сказал я. – Это нечестно.

– А честно загонять человека в Кутырьму?! А честно писать липовый диплом для грузин?! – завопил Сметанин.

Этим он меня убил. На соседних столиках с интересом посматривали на нас, ожидая инцидента. Мила подошла к нам после танца и сказала:

– Мальчики, у вас наедине психологическая несовместимость. Я сяду между вами.

И мы продолжали ловить кайф втроем, правда, он никак не ловился. У меня в голове вертелось это дурацкое слово: Кутырьма, Кутырьма, Кутырьма. Оно очень подходило к окружающей обстановке.

Фиктивная жизнь

Настроение у меня после того вечера испортилось. Моя жена заявила, что если я пойду к Сметанину свидетелем на фиктивный брак, то могу наш брак считать тоже фиктивным. Она хорошо знала Сметанина, поскольку до того, как мы поженились, училась в нашей группе. Потом, правда, ей пришлось на год отстать из-за дочери.

– Если уж ты не занимаешься дипломом, а устраиваешь фиктивные браки, пошел бы лучше подработать. На нашу с тобой стипендию я не могу купить дочери даже туфельки.

Она была абсолютно права. Мне все стало казаться в мрачном свете. Мой диплом тоже выглядел фиктивным. Незаметно это слово взяло меня в плен, потому что я постоянно думал то о фиктивном дипломе, то о фиктивном браке. Все вокруг стало фиктивным. Я фиктивно ел, фиктивно спал, слушал фиктивные радиопередачи, смотрел фиктивные детективные фильмы по телевизору. Я делал фиктивные расчеты фиктивных электронных приборов. Я становился фиктивным инженером.

Окончательно добил меня Крылов. Выяснилось, что он уже написал свой диплом и теперь работает над диссертацией, потому что Мих-Мих обещал ему аспирантуру. Вот только неясно, что он сначала будет защищать – диплом или диссертацию. Попутно он фактически написал диплом своей Вике, как я и предполагал. Об этом рассказал тот же Сметанин. Правильно говорят, что любовь способна на чудеса. Моя беда состояла в том, что я пережил любовь еще на втором курсе. Нужно было оттянуть ее до диплома.

Сметанин повадился к нам в комнату и вел бесконечные разговоры о преимуществах фиктивного брака и о Кутырьме, местоположение которой он выяснил. Кутырьма была где-то за Уралом, что не устраивало Сметанина. Еще он начал читать Фрейда и нес несусветную чушь о психоанализе.

Мое положение становилось критическим. Спас меня Чемогуров.

Однажды, он, как всегда, вышел из-за интегратора и выгнал Сметанина. Сметанин и не предполагал, что Чемогуров там сидел и слушал его бред о психоанализе и фиктивном браке.

– Вот ты, – сказал Чемогуров, указывая пальцем на Сметанина, – уходи отсюда и больше сюда не приходи. Я запрещаю как ответственный за противопожарное состояние комнаты.

– Почему? – выдавил перепугавшийся Сметанин.

– Потому что он, – и Чемогуров перевел палец на меня, – уже горит синим пламенем.

Сметанин удалился, стараясь сохранять достоинство. Чемогуров тут же переключил шифр на двери и запретил сообщать его посторонним. Он поставил 4-67 в честь того шампанского, которое мы будем пить после моей защиты.

После этого Чемогуров сел верхом на стул напротив меня и долго изучал мое лицо. Я в это время внимательно рассматривал пол.

– Как ты думаешь, чем студент отличается от инженера? – начал Чемогуров. Я понял, что вопрос риторический, поэтому не ответил. – Тем, что студент получает оценку от преподавателя, а инженер ставит ее себе сам, – продолжал Чемогуров. – Преподавателя можно обмануть, а себя не обманешь.

– Вот-вот, – сказал я. – Я и не хочу себя обманывать. Моя работа никому не нужна.

– Любую работу можно делать двояко, – продолжал философствовать Чемогуров. – Можно сделать так, что ею воспользуются один раз и выкинут, как бумажный стаканчик. Но если ты сделаешь ее по-настоящему, она пригодится еще много раз. Ты сам не знаешь, кому и когда она сможет пригодиться.

– Вы ведь сами говорили, что весь смысл моей работы в получении диплома...

– Для тебя, – спокойно парировал Чемогуров. – Но не для человечества.

– Скажете тоже – для человечества! – смущенно возразил я. Мне несколько польстила неясная связь моей работы с человечеством.

– Ты студент, Петя, и останешься студентом до пенсии! – в сердцах вскричал Чемогуров. – Ты будешь вечно видеть не дальше своего носа, вечно зарабатывать хороший балл у начальства, вечно решать маленькие конкретные задачи...

Я обиделся. Особенно меня задело слово «вечно». Мне не понравилось, что мою бездарную деятельность планируют на такой срок.

– Лазеры еще еле дышат! – кричал Чемогуров. – Тебе и не снилось, как они будут применяться! В космосе чем будут сваривать? А?... У тебя появилась уникальная возможность поставить и решить задачу в общем, для многих случаев, для будущего! Бу-ду-ще-го! – по складам произнес Чемогуров. – А ты страдаешь, что твои расчеты не нужны сейчас в городе Тбилиси.

Чемогуров ушел в свой закуток и с шипением погрузил паяльник в канифоль. А я стал думать над его словами.

В самом деле, я еще ни разу не смотрел на свою работу с такой точки зрения. А ведь нужно смотреть на любую работу именно так. Я старался ее спихнуть и получить маленькую пользу в виде диплома и горстки полезных сведений для грузинского КБ. Теперь мне предстояло переосмыслить задачу и стараться уже для всего мыслящего человечества.

Мыслящее человечество с нетерпением ждало результатов.

И я провалился в программу для машины. Тут моя жизнь стала опять совершенно фиктивной, но уже в другом смысле. Я стал работать по ночам.

Вычислительная машина днем сильно загружена. Поэтому студентам ее в нормальные часы не дают. Мое машинное время начиналось с полуночи и кончалось в шесть утра. Около месяца я жил в странном режиме совы или летучей мыши.

Я просыпался после обеда, часа в четыре. В пять я завтракал и садился за программу и выкладки по расчету тепловых полей. В десять часов вечера я обедал и шел на машину. Ровно в полночь я нажимал кнопку общего сброса и запускал свою задачу. Устройство ввода заглатывало колоду перфокарт и лампочки на панели начинали дрожать мелкой дрожью.

В шесть часов утра появлялся заспанный инженер по эксплуатации и нажимал ту же кнопку общего сброса. Он сбрасывал мою задачу. В семь утра я приходил домой, ужинал и ложился спать.

Я жил в противофазе с женой и окружающими.

Мыслил я в то время на двух языках, причем оба были неродными. Первым был математический язык формул. Мои тепловые поля выражались через ряд интегралов, среди которых выделялся один. Он имел особенность. Я старался обойти ее и так, и сяк, вычисляя интеграл приближенно, но ничего не получалось. Для этого интеграла я придумал специальное имя. Я назвал его «бесконечно подлый змей», потому что он обращался в бесконечность в одной точке, а другие слова выражали мое к нему отношение. На «змея» я тратил уйму времени.

Другим языком на этот период времени стал сильно усеченный английский, в котором было около двух десятков слов. Этот язык назывался АЛГОЛ-60. На нем я разговаривал с машиной.

Может ли машина мыслить? Этот вопрос часто становится предметом дискуссии в прессе. По-моему, он устарел. Машина уже давно мыслит. В этом я убедился на собственном опыте. Правда, она мыслит не так, как нам бы хотелось.

Мои диалоги с машиной выглядели странно.

– Бегин! – говорил я, нажимая кнопку ввода. Этим словом начиналась моя программа. Машина не различала его на слух, но понимала, если слово было набито на перфокарту.

– КОНЕЦ ОТДЫХА, ВРЕМЯ СЧЕТА, – вежливо говорила машина, печатая свои слова на пишущей машинке. И начинала считать.

Чаще всего ей не нравилась моя программа. Проработав несколько минут, машина говорила мне страшное слово АВОСТ. На нормальном языке это означает АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ, хотя я сильно сомневаюсь в наличии слова «останов» в русском языке.

Короче говоря, она останавливалась, потому что произошло деление на ноль или что-то в этом роде. По всей вероятности, это были проделки «подлого змея». После АВОСТА машина терпеливо ожидала продолжения диалога.

Однажды, когда она выдала мне подряд семь «авостов», я ее ударил. Я смазал ей по никелированной панели устройства ввода. Машина и тут оказалась выше меня. Она в восьмой раз произнесла с достоинством это слово и затихла. Я ругался так, что мне не хватало не только алгольных, но и всех известных мне русских слов. Машина молча зациклилась, то есть ушла в себя и минут десять крутилась на одном месте программы, пока я ее не остановил.

Подобные сцены обычно происходили часа в четыре ночи, когда в голове полная путаница, а сквозь окна машинного зала видны только одинокие милицейские машины.

Корректность и твердость машины бесили меня. Я совал ей в пасть новые и новые перфокарты, но она невозмутимо выплевывала АВОСТ или зацикливалась.

Иногда инженер по эксплуатации заставлял меня лежащим на пульте в полном изнеможении. Машина же всегда была как огурчик.

Кто же из нас, спрашивается, мыслил?

Я пожаловался на машину Чегогурову. К тому времени он завалил меня исходными данными по лазерной сварке, которые брались неизвестно откуда. Но из-за упрямства машины результаты задерживались.

– Всякая машина – это женщина, – глубокомысленно изрек Чегогуров. – Только лаской, Петя, только лаской и нежностью. Грубым напором ты ничего не добьешься.

Я не успел воспользоваться его советом, потому что подошло время жениться Сметанину. Я уже успел позабыть, что приглашен свидетелем. Но Сметанин это хорошо помнил. Продолжение моего романа с машиной пришлось отложить. Сметанин нашел меня и потребовал выполнения обязательств. Я сказал, что жена против. Сметанин презрительно посмотрел на меня и обозвал подкаблучником.

– Сделай так, чтобы она не знала. Ты же все равно каждый вечер уходишь из дома. Не все ли ей равно – на свадьбу или на машину?

И я решился. Кроме всего прочего, я никогда не видел фиктивного брака. Хотелось посмотреть, как это выглядит. Было только одно маленькое затруднение. На свадьбу нужно было одеться поприличнее, чем на работу. Жена, конечно, сразу обратила внимание, когда я наряжался.

– На работу так не ходят, – сказала она. – У тебя, наверное, свидание?

– Конечно, свидание, – сказал я. – Чегогуров советовал подойти к машине как к женщине. Теперь я всегда буду ходить к ней нарядным и с цветами.

Между прочим, я так потом и делал. Может быть, именно это мне помогло.

Но в тот вечер жена не оценила моего юмора, и мы с ней немного поспорили. В результате я чуть не опоздал во Дворец бракосочетания, где зарегистрировались Сметанин и Мила.

Когда я с букетом белых хризантем влетел во Дворец, до бракосочетания оставалось полторы минуты. А во Дворце график бракосочетаний выполняется с точностью железнодорожного расписания. Это я знал еще по своей регистрации.

Я взбежал по мраморной лестнице вверх и ворвался в зал, где происходило построение участников. Процедурой руководила миловидная девушка. Она выстраивала всех парами перед закрытыми дверями в самый главный зал, где совершалось таинство.

– Впереди жених и невеста, – командовала она. – Дальше свидетели...

Какая-то незнакомая девушка подхватила меня под руку и повела. Мы пристроились за Сметаниным и Милой. Мила на этот раз была в нормальном свадебном платье. Сметанин, красный от духоты и ответственности, обернулся и погрозил мне кулаком.

– Следующими становятся родители невесты... – продолжала вещать распорядительница.

За нами пристроилась еще одна пара. Я скосил глаза и, к своему ужасу, обнаружил, что пара эта состоит из элегантной пожилой женщины в розовом костюме и профессора Юрия Тимофеевича, моего руководителя.

Он был строг и торжественен.

– Здра... – прошептал я, но задохнулся.

Профессор кивнул мне немного холодно. Мол, не стоит церемониться, после поговорим. Я отвернулся, чувствуя, что мой затылок немеет под взглядом профессора. Вот и состоялась наша встреча! Больше всех я в тот момент ненавидел Сметанина. Только теперь я понял, зачем я ему понадобился в качестве свидетеля.

Сметанин прикрывал мною свой фиктивный брак. Я был буфером между ним и профессором.

Заиграл свадебный марш композитора Мендельсона, и мы вошли в зал бракосочетаний, чтобы выполнить формальности фиктивного брака.

Свадьба понарошке

Интересно было бы узнать, о чем свидетельствует брачный свидетель? Свидетель в суде, например, рассказывает, как произошло преступление. При этом он обязуется говорить правду и только правду. С брачного свидетеля таких обязательств не берут. По-видимому, он должен засвидетельствовать, что знает жениха с хорошей стороны и уверен в благоприятном браке. То есть, я должен был сделать именно то, против чего активно возражала моя совесть.

Тем не менее, в нужный момент я вышел к столу и поставил свою подпись там, где требуется.

– А теперь, товарищи, поздравьте новобрачных! – сказала главная женщина с бархатной красной перевязью.

Мы все, толпясь, подошли к Сметанину и Миле и принялись их целовать куда попало. Хуже того, пришлось целовать и родителей. Я облобызался с собственным профессором, чувствуя, что никогда еще не был в более идиотской ситуации.

– Как ваши расчеты? – спросил он меня между поцелуями.

– Как сказать?... Скорее хуже, чем лучше, – ответил я и снова приник к его щеке.

После этого мы дружной гурьбой спустились вниз и принялись рассаживаться в такси. Я как свидетель ехал с новобрачными в специальной машине с переплетенными колечками на крыше. К колечкам примотали большую куклу в свадебном платье с фатой. Кукла хлопала глазами на ветру и была очень похожа на Милу. Эта кукла символизировала что-то хорошее.

Мы поехали сначала на Дворцовую площадь, где трижды объехали вокруг Александровской колонны. Зачем это понадобилось, не знаю. Таков обычай. Эти загадочные обычаи проводятся с огромной быстротой. Кажется, уже появилась мода взбираться на купол Исаакиевского собора в день бракосочетания.

Потом мы поехали в ресторан «Ленинград», где был заказан свадебный ужин. Заказывал ужин Юрий Тимофеевич, который взял на себя и другие свадебные расходы. Если бы профессор знал, что его дочь вступает в фиктивный брак, он не потратил бы ни копейки.

– А ты не боишься, что придется расплачиваться при разводе? – шепнул я Сметанину, чтобы хоть как-нибудь испортить ему настроение.

– Не имеет права. Я узнавал у юриста, – быстро ответил он.

Колоссальный человек!

Все расселись за столом. Гостей было человек сорок. С одной стороны стола сидели старики – тети, дяди, бабушка Милы и прочие родственники. По другую сторону – молодежь. Были ребята из нашей группы, включая Крылова и Вику. Вика разглядывала всех с повышенным интересом и невзначай наводила справки. Она готовилась к своему браку. Крылов до сих пор пребывал в состоянии грогги и никого, кроме Вики, не замечал.

Мои неприятности продолжились и в ресторане, потому что меня назначили тамадой. Я должен был выкликать тосты и время от времени организовывать хор, завывающий «Горько!»

Сметанин и Мила целовались кинематографично и не без чувства. Было непохоже, что впереди их ждет фиктивный брак. Я тем временем потихоньку записывал на салфетке имена и отчества всех родственников, чтобы, не дай Бог, не перепутать.

– А теперь мы попросим бабушку Милы Калерию Федоровну сказать несколько слов и напутствовать новобрачных! – кричал я голосом циркового клоуна.

И несчастная бабушка, принимая за чистую монету все происходящее, проникновенно говорила о трудностях и радостях семейной жизни. Рука об руку... Умейте прощать друг другу... Главное – дети... Сметанин понимающе кивал.

– Горько! – крикнула Вика и вдруг ни с того ни с сего запустила пустым фужером в стенку. Фужер просвистел над головой профессора и разлетелся на мелкие брызги.

– На счастье! – твердо сказала бабушка, выпила и тоже хряснула своим фужером об пол. Сразу возник официант. Он обеспокоенно повертелся вокруг стола и наклонился к уху профессора. Юрий Тимофеевич, благодушно улыбаясь, что-то сказал официанту. Тот испарился.

Сметанин и Мила опять слились в поцелуе. Они, кажется, вошли во вкус. Свадьба потеряла управление и покатилась дальше сама собой, как трамвай, у которого отказали тормоза. Заиграл оркестр, гости пошли танцевать, а ко мне подсел Юрий Тимофеевич. Он был в приподнятом расположении духа.

– Вот как бывает, Петя, – сказал он, обобщая совершающееся в одной фразе.

Потом он помолчал и стал распрашивать о Сметанине.

– Скажите, как вам нравится Боря? Вы ведь его хорошо знаете... Как студент он... э-э... немножко с ленцой. Но мне кажется, если захочет, он своего добьется. Не правда ли?

– Совершеннейшая правда! – убежденно сказал я.

– Хорошая пара... – сказал профессор, с любовью глядя в зал, где на площадке перед оркестром кружились Сметанин и Мила.

– Очень подходят друг другу, – согласился я.

– Так что Боря? Мне хотелось бы знать ваше мнение. Вы ближайший его товарищ.

Всякий раз, когда у меня спрашивают мое мнение, я теряюсь. И вовсе не потому, что не обладаю им. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев хотят услышать не мое мнение, а подтверждение своему. Вот и сейчас профессор Юрий Тимофеевич хотел услышать от меня, что Сметанин превосходнейший человек, добрый товарищ и верный друг. Я же придерживался мнения, что Сметанин большой прохиндей, бездарен, но энергичен. Поэтому я сказал:

– Боря очень энергичен...

– Так! – воскликнул Юрий Тимофеевич, радуясь совпадению.

– Любит общество. Всегда живет жизнью коллектива, – продолжал я, вспомнив его поручение относительно мест распределения.

– Ага! – кивнул профессор.

– По-моему, Мила любит его, – закончил я свое мнение.

– Я тоже так думаю, – сказал профессор.

А ведь умный человек! Лауреат государственной премии. Большая голова в своей области. Почему умение разбираться в людях никак не коррелирует с профессиональным совершенством? Проще говоря, почему профессора, академики и, скажем, народные артисты могут быть сущими детьми во всем, что касается человеческих отношений?

Профессора опять отвлек официант. Они стали обсуждать горячее и сладкое. Что когда подавать. А я пригласил Вику, потому что она явно скучала. Крылов не умел танцевать и только шептал ей что-то на ухо. Я дружески отстранил Славку и повел Вику на площадку.

Слава Богу, играли что-то спокойное. Можно было поговорить.

– Как тебе это все нравится? – спросил я.

– Очень! – мечтательно сказала Вика. – Они такие счастливые! Я вот только удивляюсь твоему участию...

– А что? – не понял я.

– Всем известно, что при кафедре оставят двоих, – сказала Вика. – Крылову место обеспечено. Мы думали, что вторым будешь ты. А теперь, скорее всего, оставят Борьку. Как же не помочь зятю?...

Я отодвинул Вику от себя и осмотрел ее, продолжая танец. Наконец я ее увидел. Оказывается, можно проучиться с человеком пять лет, а увидеть один раз в ресторане во время танца.

Я подумал, что Крылов непроходимый дурак. У меня даже появилось желание его спасти. Но вмешиваться в чужую личную жизнь не принято.

Я поблагодарил Вику за танец и вернул Крылову.

Дальше были какие-то незначительные свадебные эксцессы. Кто-то куда-то убегал, его ловили, успокаивали, пили на брудершафт, целовались, хохотали над чем-то, привели иностранца, усадили, пили с ним на брудершафт, целовались, выясняли откуда он, наконец выяснили. Он был с острова Маврикий.

В общем, все как обычно.

В полночь я обнаружил себя стоящим в вестибюле ресторана в обнимку с профессором. Я выяснял, почему он к себе на диплом взял меня, а дочь выдал за Сметанина. Я находил это нелогичным. Профессор настойчиво грозил мне пальцем и смеялся.

Самое интересное, что и в этот раз у меня было машинное время. Я вышел на машину в час ночи, шутил с нею и пел ей цыганские романсы. Видимо, машине это понравилось. Под утро затрещало АЦПУ, что в переводе на русский язык означает «алфавитно-цифровое печатающее устройство» и машина выдала мне рулон бумаги с буквами и цифрами. Я засунул рулон под мышку и пошел домой разбираться.

Когда я проснулся днем, рулон лежал под подушкой. Я развернул его и прочитал следующий текст:

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

4 x 4 = 16

ПОНЯЛ?

НЕ ПЕЙ ПЕРЕД РАБОТОЙ НА ЭВМ!

ЦЕЛЮЮ, МАНЯ.

Этот текст был повторен раз тысячу.

Думаю, что это была шутка инженера по эксплуатации. Впрочем, не уверен.

Гений

В течение некоторого времени после свадьбы профессор проявлял ко мне повышенное внимание. Он звонил по телефону и интересовался, как идут дела. Я неизменно отвечал, что нормально. Наконец Юрий Тимофеевич зашел в нашу комнату чтобы посмотреть на результаты. Я показал ему теоретические кривые, выкладки с интегральными уравнениями, «бесконечно подлого змея» и алгольную программу.

– Все хорошо, только программа не идет, – сказал я.

– Как это не идет? Должна идти, – сказал профессор.

– Я тоже так думаю.

– Ничего! Пойдет, – сказал Юрий Тимофеевич и похлопал меня по плечу. – А как настроение? Как дела дома? Вы ведь, кажется, женаты?

– Кажется, – сказал я.

Профессор недоуменно поднял брови.

– Я давно не видел жену, – пояснил я. – Мы с ней расходимся во времени.

Профессор понимающе улыбнулся. Потом в его взгляде мелькнула какая-то мысль. Он наклонился ко мне и прошептал заговорщически:

– Есть способ обрадовать жену...

Теперь уже я недоуменно поднял брови. А Юрий Тимофеевич рассказал о том, что у него есть друг, член-корреспондент. У члена-корреспондента есть сын. Сын учится на втором курсе нашего института, только на другом факультете. И у него нелады с математикой. Нужно помочь ему разобраться в интегралах. Сам член-корреспондент их уже подзабыл, да ему и некогда. Вот он и ищет репетитора своему сынку. Профессор сказал, что если я за две недели натаскаю его, мне очень неплохо заплатят.

– Они живут совсем рядом с институтом. По дороге в вычислительный центр будете заходить к ним и проводить занятие. Отец, понимаете, очень меня просил. Договорились?

Конечно, мы договорились. А что было делать?

На следующий день мне сообщили, когда можно приходить. Вечером я отправился к члену-корреспонденту. Он, действительно, жил в двух шагах от института, в новом красивом доме. Я поднялся на четвертый этаж и нажал кнопку звонка. За дверью раздался звучный лай.

Мне открыл сам член-корреспондент. Он был маленького роста, лысоватый, с быстрыми и умными глазами. На ногах были шлепанцы. Рядом с ним стояла черная собака почти с него ростом. Собака бросилась лапами мне на грудь и лизнула длинным языком в щеку. Нельзя сказать, чтобы это мне понравилось.

– Она у нас ласковая, – сказал хозяин. – Проходите...

Я разделся, и меня провели в комнату к сыну.

– Можете приступать, – сказал член-корреспондент и ушел.

За письменным столом сидел юноша цветущего вида. У него были широкие плечи, розовые щеки и унылое выражение лица. Я подошел к нему и протянул руку. Он встал. Росту в нем было на двух членов-корреспондентов. Просто удивительно, какие фокусы вытворяет наследственность!

– Петр Николаевич, – солидно представился я.

– Гений, – сказал он смущенно.

– Это понятно, что гений, – сказал я. – А можно как-нибудь попроще?

– Геня, – сказал он, смотря на меня сверху своими детскими глазами.

– Ну что ж, Геня, – сказал я. – Давайте ваши интегралы!

Он сразу сник, обреченно повернулся к столу и стал листать тетрадку. Мы начали заниматься.

Надо сказать, что такой патологической неприязни к математике я никогда больше не встречал. Вид интеграла вызывал у Гения физическую муку. Он смотрел на него, шевелил губами, морщился, но ничего, кроме слова «дэикс» не произносил. Я понял, что натаскать его за две недели будет чертовски трудно.

Для начала я попытался определить глубину невежества Гения. Другими словами, я хотел узнать, какие разделы математики он знает твердо. Я решил идти от интегралов к начальной школе. Производных и дифференциалов Гений не знал начисто. Элементарные функции присутствовали в его памяти лишь в виде намека. С формулой квадратного трехчлена Гений был знаком понаслышке. С несомненностью выяснилось, что твердо он знал только таблицу умножения.

Я спросил, каким образом ему удалось закончить школу.

Гений пожал плечами и кивнул головой на дверь. Я понял, что он указывает на своего папу, члена-корреспондента.

– Репетиторы, – сказал он.

Я очень мягко сказал, что здесь нужна целая дивизия репетиторов. Гений согласился.

– У меня хорошая кратковременная память, – признался он. – Я могу выдолбить наизусть, как стихи.

И он неожиданно начал читать на память:

– «Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других... Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих...» Это Тютчев. Это я понимаю... – с тоской сказал он.

И он прочитал стихотворение до конца. Читал он хорошо, с чувством.

– Хотите еще? – спросил он. Я в растерянности кивнул. Гений прочитал Пушкина, Блока, кого-то еще. Мне стало грустно, нахлынули разные мысли. Я решил остановить Гения. Все-таки у нас урок математики, а не вечер поэзии.

– А почему вы не выбрали что-нибудь погуманитарнее механико-машиностроительного факультета? – спросил я.

– Папу там все знают. Они у него учились... Он считает, что стихи – это не занятие для человека.

– Что же мы будем делать?

– Нам главное – решить упражнения. К сессии я теорию выучу, – сказал Гений.

– Решения объяснять? – спросил я.

Гений страдальчески взглянул на меня.

– Я вам лучше стихи буду читать, – попросил он.

И я принялся за работу. Я передвинул к себе задачник Бермана и принялся щелкать интегралы. Я работал профессионально, с чувством некоторой гордости. Гений никуда не отходил, он смотрел в тетрадку и шептал стихи:

– «Не растравляй моей души воспоминанием былого, уж я привык грустить в тиши, не знаю чувства я другого. Во цвете самых пылких лет все испытать душа успела, и на челе печали след судьбы рука запечатлела...» Баратынский, – комментировал он. – Поэт первой половины прошлого века.

Надо сказать, у Гения был безукоризненный поэтический вкус. Таким образом мы повышали уровень друг друга. Я рос гуманитарно, а Гений математически. Хотя правильнее будет сказать, что каждый из нас безуспешно пытался приобщить другого к недоступной ему красоте.

После стихов и интегралов я шел на машину и бился с «бесконечно подлым». Пока перевес был на его стороне.

Когда папы не было дома, Гений брал гитару и тихонько напевал мне романсы. Под романсы дело шло еще быстрее. Скоро я перерешал все интегралы из задачника, и Гений стал приносить мне другие, которые выдавал ему преподаватель в институте.

Таким образом мы провели с ним две недели по два часа на урок. Всего двенадцать занятий, или сутки чистого времени. Интегралы стали иссякать. Под конец мы все чаще беседовали о жизни. Моя симпатия к Гению очень выросла. Я полюбил это детское существо с нежной поэтической душой. Одно я понял ясно: инженером Гений никогда не станет. Мне было непонятно, зачем он досиживает институт до конца, а родители гробят деньги на репетиторов.

Гений сам писал стихи. Он показывал их мне. Стихи были элегические.

– Если станешь поэтом, смени, пожалуйста, имя, – сказал я.

– Понимаю, – сказал он.

На последнее занятие он притащил мне всего один интеграл. Этот интеграл с большим трудом раздобыл преподаватель. У нас с ним был заочный поединок. Сумеет ли он составить интеграл, который я не смогу взять? Я за две недели гигантски повысил свой класс.

– Он сказал, что этот пример из Университета, – доложил Гений.

– Посмотрим! – бодро сказал я.

Гений запел «Выхожу один я на дорогу», а я приступил к интегралу. Я затратил на него сорок пять минут. Когда я нарисовал ответ и обвел его жирным овалом, что-то в интеграле показалось мне знакомым. Я присмотрелся повнимательнее и убедился, что если заменить переменную, то интеграл превратится в моего любимого «бесконечно подлого змея».

Почти не дыша я проделал эту операцию.

У меня получился ответ. Получилась функция, довольно сложная, зависящая от нескольких параметров, но без особенности. Особая точка исчезла! Это означало, что с бесконечным змеем было покончено!

– Гений! – прошептал я.

– А? – отозвался Гений.

– Это я гений! Понимаешь?... Я два месяца мучался с этим интегралом на работе, а тут решил его как учебный пример! Невероятно!

И мы с Гением спели вместе «Эх, раз! Еще раз!...» Оба были счастливы.

На шум прибежала мама Гения.

– Мама, мы все решили, – сказал Гений.

– Ах, я не знаю, как вас благодарить! – сказала мама и пригласила меня в другую комнату.

Там, немного помявшись, она сказала:

– Петр Николаевич, мне хотелось бы знать, какова ваша преподавательская ставка в час?

– Рубль, – подумав, сказал я. Мне показалось, что эта ставка наиболее подходит.

– Ну что вы... Что вы... – забормотала она. – Нужно ценить свой труд.

Она достала из ящика письменного стола конверт, быстро отвернулась, проделала с ним какую-то манипуляцию и вручила конверт мне. Я поблагодарил и сунул его в карман.

Потом я прощался с Гением, с мамой, с членом-корреспондентом и собакой и вышел на лестничную площадку. В кармане шевелился конверт. Он мешал мне идти. Я вынул его и пересчитал деньги. В конверте было семьдесят два рубля. Таким образом я узнал, что моя преподавательская ставка составляет три рубля в час.

Но даже эта тихая радость не могла заслонить чудо расправы с «бесконечно подлым змеем».

В тот вечер я не пошел на машину, а понесся домой вносить исправления в программу. Я чувствовал, что победа близка. Голос Гения распевал во мне марши.

– Ничего удивительного! – сказал Чегогуров, когда узнал о моем достижении. – А ты думал, стихи – это так? Сотрясение воздуха?... Они вдохновляют, вот что они делают! Скажи спасибо своему Гению.

Миг удачи

Какое это было счастье! Кто его не испытал, тот не поймет.

Машина стала выдавать результаты. Я ходил к ней, как на праздник, начищенный, умытый и наглаженный. Я влюбился в нее, как Крылов в свою Вику. Машина превратилась в вежливое и понятливое существо. Кокетливо помигав лампочками, она печатала мне изотермы.

Изотермы появлялись на широком белом рулоне, который медленно выползал из АЦПУ. Они имели вид концентрических эллипсов. Эллипсы распускались, как бутоны роз. Я плясал возле АЦПУ и время от времени подбрасывал в устройство ввода новые исходные данные. Как дрова в печку.

За несколько дней я теоретически сварил лазером все возможные сочетания металлов, для любых толщин и конфигураций деталей. Вольфрам с титаном, титан с ванадием, сталь с латунью и тому подобное.

Рулоны с изотермами и другими данными я приносил в нашу комнату и сваливал у себя на столе. Довольный Чемогулов рассматривал изотермы и что-то бормотал. Кроме того, он снабжал меня все новыми и новыми параметрами.

Наконец параметры кончились. Мне казалось, что я обеспечил лазерную технологию на много лет вперед.

В нашей комнате появился незнакомый человек. Его привел Чемогулов. Он был седой, с короткой стрижкой и лицом боксера. Широкие скулы и приплюснутый нос. Звали его Николай Егорович.

Николай Егорович занял стол Крылова. Сам Крылов уже давно исчез. Его потерял из виду не только я, но и Мих-Мих, и даже Сметанин. Никто не знал, где Крылов и чем он занимается. Сметанин высказывал предположение, что Крылов готовится к свадьбе.

Николай Егорович зарылся в рулоны. Предварительно он очень вежливо испросил мое согласие. Я согласился. Он что-то выписывал в тетрадку, накладывал изотермы одна на другую и считал на логарифмической линейке. Мне он не мешал.

Сметанин, который жил теперь с Милой у профессора и продолжал разыгрывать фиктивный брак, рассказал Юрию Тимофеевичу о моем успехе. Профессор пришел ко мне и долго разглядывал изотермы.

– Поздравляю, Петя, – сказал он. – Теперь нужно срочно написать отчет по теме и лететь с ним в Тбилиси. – Пишите с таким расчетом, чтобы это вошло потом в дипломную работу.

– Ясно, – сказал я.

Я засел за отчет. В первой главе я описал метод решения, во второй изложил применявшиеся численные методы, в третьей дал сведения о программе. Приложением к отчету были изотермы и другие кривые, характеризующие режимы сварки. Я сам их начертил на миллиметровке, вкладывая в дело душу. Получился капитальный труд.

Зоя Давыдовна перепечатала его в пяти экземплярах на машинке. На титульном листе значилось: «Научный руководитель темы» (подпись профессора) и «Ответственный исполнитель» (моя подпись). Это выглядело шикарно. Я подумал, что в последних двух словах решающим является первое: «ответственный». Мне было очень радостно, что оно перевесило слово «исполнитель».

Отчет переплели в коленкор и снабдили золотым тиснением. Я носил его с собой не в силах расстаться.

Мой пыл, как всегда, охладил Чемогулов.

– Не думай, что ты герой, – сказал он, листая отчет. – По-настоящему твоего в этом томе – только подпись и две-три идеи. Остальное – интерпретация... А профессор был прав, – добавил он.

– В чем? – спросил я.

– В том, что взял тебя. Понимаешь, когда шли споры, кому всучить договор, он потребовал отчеты о лабораторных работах всей вашей группы. Твои отчеты были самыми аккуратными. Ты лучше всех рисовал кривые, да еще цветной тушью... «Вот человек, который мне нужен!» – сказал тогда Юрий Тимофеевич. И действительно – на отчет приятно смотреть.

Нет, разве можно так плевать человеку в душу, я вас спрашиваю?

– Да ты не обижайся, – сказал Чегогуров. – Я тоже в тебе не ошибся. Все-таки две-три идеи – это не так мало, как ты думаешь. Возможно, инженером ты станешь.

Я стал оформлять командировку в Тбилиси. Оформление было довольно хитрым, потому что студентам командировки не полагаются. Мне выписали материальную помощь, чтобы я смог слетать туда и обратно. Юрий Тимофеевич вручил мне акты о приемке договора в нескольких экземплярах. Я должен был подписать их в Тбилиси и скрепить печатями.

Но прежде, чем я улетел, случилось одно событие. На первый взгляд, незначительное. Мне позвонили из одного НИИ и предложили выступить с докладом по моей теме. Я недоумевал, откуда они узнали.

Когда я туда пришел, меня встретил Николай Егорович. Мне оформили пропуск, и Николай Егорович повел меня по территории. Это был огромный завод вакуумных приборов. НИИ был при нем.

Сначала Николай Егорович провел меня в цех, где изготавливались детали приборов. Я своими глазами увидел лазерную сварку, над которой бился уже несколько месяцев. Это зрелище мне очень понравилось. Везде была чистота, микроскопы, микрометрические винты и так далее, а луч лазера выжигал на поверхности металла маленькую точку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.